

**ЭДУАРД АРБЕНОВ, ЛЕОНИД  
НИКОЛАЕВ**

# **ФЕНИКС**

**Леонид Николаев**  
**Эдуард Арбенов**  
**Феникс**

**Серия «Особо опасен для рейха»**

*Текст предоставлен издательством*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=6028862](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6028862)*

*Феникс : Роман / Э. Арбенов, Л. Николаев: Вече; Москва; 2008*

*ISBN 978-5-9533-2904-0*

### **Аннотация**

Готовясь к захвату среднеазиатских республик, руководители Третьего рейха пытались политически оформить будущие колонии как «независимое государство».

Молодой отважный разведчик Саид Исламбек, именуемый «Двадцать шестым», по приказу центра сдается в плен, чтобы легально пробраться в «филиал» Главного управления СС в Берлине – Туркестанский национальный комитет, созданный гитлеровцами в разгар Второй мировой войны как «правительство свободного Туркестана». Нелегко далась победа Двадцать шестому. Связной, на встречу с которым шел Саид, был выслежен гестапо и убит. Исламбек остался один. Но начатая операция не может прерваться...

# Содержание

Часть I. Дорога в ад	5
1	5
2	10
3	14
4	18
5	29
6	39
7	65
8	78
9	98
10	104
Часть II. Призраки Ноенбургерштрассе	124
1	124
Конец ознакомительного фрагмента.	139

# Эдуард Арбенов, Леонид Николаев

## Феникс

©Арбенов Э., Николаев Л., 1965

©ООО «Издательский дом «Вече», 2008

*Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.*

# Часть I. Дорога в ад

## 1

Руки поднимались с трудом. Возможно, они вообще еще не поднимались, а только готовились к этому. Ладони липли к шароварам, к карманам, набитым махоркой, и никак не могли оторваться от них, потом задержались на ремне – это уж последнее. Сейчас оторвутся ладони и, раскинувшись, поползут по пустоте вверх. Тогда уж все...

Вперед смотреть боялся. Страшно. Какие они, немцы, те, кому предстоит теперь владычествовать над ним. Видел он не раз их. Видел шагавших по дороге, с моста видел во время разведки. Видел в машинах – орали песни. Видел двух пленных. Естественно, по-человечески просто стояли они, понурив головы, и изредка исподлобья поглядывали на комиссара полка. А теперь... Посмотрел... Пора было.

Через взрытое снарядами, перепаханное гусеницами танков, грязное, пахнувшее дождем и осенью поле, перепрыгивая через ухабы, топча желтую после недавнего покоса стерню, бежали немцы. Один впереди, с обнаженной почему-то головой, с растрепанными волосами. Спотыкался, чуть не падал. Видимо, замучен был до чертиков, – лицо иссиня-бледное, мокрая прядь легла на лоб, почти закрывала

глаза. Четверо – сзади, лица в тени шлемов. Рты раскрыты, будто в судорожном зеве...

Животные, звери, люди, – не понял он. Но страшно было видеть их, отупевших от грохота выстрелов, бегущих прямо на него, поводящих автоматами.

Автоматы поторопили его поднять руки: могли изрыгнуть пламя и положить на месте в этот окопчик, вырытый им самим. Они видели все и все понимали – автоматы. Лучше солдат. В последнюю минуту, уже взметая руки над головой, он подумал: «Хотя бы ранили. Как-нибудь ранили...» Тогда все понятно. Тогда он оправдан перед теми, что лежали (он был уверен – свои лежали в рябине и видели, пусть мертвыми глазами, все, что творил он). И ему захотелось, до боли сердца, оправдания. Оправдания сейчас (не в будущем, оно оправдает его) перед товарищами.

Броситься вперед! Или лучше вынуть пистолет. Только вынуть – и автоматы полоснут огнем. Он, возможно, успеет выстрелить, убить этого черноволосого, бегущего впереди. Сам упадет раненый.

Почему раненый? А если убитый? Убитый наповал.

Тогда зачем все? Зачем этот позор, эти руки, поднятые вверх? Зачем эта долгая дорога сюда, на передовую, волнения многих-многих людей, их надежды, их уверенность, их слова напутствия: «Сдавайся! Сдавайся! Это приказ, это долг, это, наконец, просьба».

Руки над головой. Он судорожно тянет и тянет их, чтобы

были хорошо видны.

Немцы бегут на него – с открытыми ртами, с мутью в глазах, опьяненные усталостью. На ногах пуды грязи. Поле превратилось в месиво. Как тесто липнет земля и тяжелит, присасывает к себе – не отдерешь сапог. Вот почему этот черноволосый так жадно дышит, почему мокрое лицо и волосы липнут к глазам...

Не бросились на него, не остановились даже. Пробежали, тяжело сопя, мимо, в осинник, в заросли. Там, за лесом, еще шел бой. Там стреляли.

Он стоял с поднятыми руками один. Ждал.

Сколько продолжалось это мучительное ожидание? Секунду-две? А может, минуты. Долгие минуты... Впереди поле. Дальше дорога – и все покрыто осенней мутью. Машины немецкие на шоссе тонут в каком-то тумане и кажутся ненастоящими, во всяком случае, нестрашными. Сзади – лесок, жидкий, серый, пахнувший прелью. Оттуда, из леска, раздался гнусавый голосок:

– Хенде хох!

Нелепый, ненужный приказ: руки его и так подняты. Выше, кажется, некуда. Но потянул еще. И снова:

– Хенде хох!

Догадался: не ему говорят. Кому-то другому. Побоялся оглянуться, – что подумает немец, еще грохнет автоматом.

Гнусавый загундосил торопливо – без ответа, сам с собой. Или полагал – его понимают. Гавкнул: «Ма-аш!» Захлопа-

ли лужи под двумя парами сапог. Он ясно различил – под двумя парами. Одна пара тяжелая, вязнувшая в грязи, другая легкая, прыгающая. Подошли сзади. Остановились. Кто-то пошарил в его карманах, вытянул махорку, перочинный нож, пистолет. Спрятал все себе.

– Фор!

«Вот и все формальности, – подумал он с облегчением. – Прощай, лесок. Прощайте, товарищи!»

Его подтолкнули в спину: «Фор! Фор!» Шагнул на окопчик, через свежий холмик земли, на стерню.

Шли рядом. Он – чуть впереди. Второй, с тяжелыми сапогами, за локтем. Немец сзади. Дымил махоркой – по запаху было слышно, нашей махоркой, что-то злобно бормотал.

Кто с тяжелыми сапогами? Хотелось взглянуть. Не решался. Вдруг встретятся глазами – что в них: укор, обвинение или одобрение? Ведь сдались вместе. Кто же?

– Шнель! Шнель! – гнусавил немец.

Он все же глянул влево: «Рядовой! Чистые петлицы. Круглое плоское лицо, узкие прорезы глаз – набухших, красноватых. Усики». Он лежал в рябине, и с ним еще четверо. Те где? Убиты или отползли к своим. Этот остался. На щеке кровь. Ранен. Все же ранен. А я? Я целехонек, не тронут.

Как же его фамилия? Как?

Сапоги совсем завязли в глине, хоть руками вытягивай.

– Шнель!

Вытянул. Пошел. Снова утонул.

– Шнель!

Автоматом его ткнули ниже спины. А может, носком сапога. Не разобрал. Обожгло все от стыда и обиды. Хотел ма-тюкнуться на этого гнусавого немца. Но снова удар.

Нет, не выругался. Стиснул зубы, смолчал. Только с болью, с каким-то упрямством и даже со злым удовлетворением подумал: «Началось...»

## 2

Началось. Началось мучительно медленно. Поле с мокрой стерней они одолевали с полчаса, грязь месили у шоссе с час – так ему показалось. Он все всматривался в силуэты машин, стоявших на дороге, и чего-то ждал, будто в них таилась какая-то тайна – для него. Там, рядом с машинами, должно все решиться. Судьба, что ли...

Медленно... Это он понял сразу. Все будет двигаться медленно, хотя гнусавый немец без конца повторял свое «шнель!». Сам он не торопился, едва-едва волоча ноги. Ругался тоже для проформы, как-то странно, устало, с тупостью какой-то. И пнул пленного без всякой надобности. Вернее, надобность была, но не внутренняя, увидел вблизи офицера и показал свою ненависть к русским. Повторил то же самое у машин, где стоял, поеживаясь, в черном плаще майор. Майор глянул через очки на конвоира и пленников, не осудив. И на вопрос гнусавого – куда девать задержанных, – не ответил. Повернулся и молча продолжал смотреть в сторону леса, где шел бой.

Мучительно... Это понял позже, когда сели у обочины, на самом скате кювета, на подсушенную ветром траву и свесили облепленные грязью сапоги к воде: внизу стояла мутная дождевая лужа. Немец опустил напротив, пристроил свой тощий зад на брошенной кем-то пробитой пулями канистре

и положил на колени автомат. Зевнул. Вытянул из кармана кисет с махоркой – чужой кисет – и стал скручивать сигарку. Делал он это старательно, неторопливо сворачивая обрезок бумаги и слюнявя краешек.

Всю процедуру пришлось наблюдать, тая нетерпимую жажду к махорочному дымку. Вначале ожидая его, следя за вспыхнувшей зажигалкой, потом чуя издали; немец сидел шагах в трех, и ветерок доносил аппетитный запах табака.

До боли в сердце захотелось курева. До тошноты. Тут и пришел простой и страшный вывод: нельзя. Нельзя хотеть, нельзя надеяться, даже думать о своих желаниях, – дума травит сердце. Позже это стало законом. Пришел и второй вывод: все будут брать, никогда не возвращая, все, вплоть до жизни. Брать равнодушно, а иногда с любопытством.

Немец закурил, затянулся с умилением несколько раз, – пробрал его оренбургский махрец, даже слезу вышиб. Утерся ладошкой, улыбнулся, глядя на своих подопечных, – дескать, хорош табачок. Глянул без благодарности – хотя махорка-то была лейтенантова, – отметил только достоинство, как отмечают качество похищенной вещи. Потом сунул кисет в карман. Вернее, донес до кармана, остановился, заметил вышивку на кисете. Стал разглядывать. Видно, занял его затейливый узор. Оренбургские девчата постарались. Готовили для своих красноармейцев – долго, ночами, с коптилкой, сидели над кисетом. Вздыхали, небось. Не знали горемычные, что попадет он в руки этому гнусавому немцу и бу-

дет тешить его серые бесцветные глаза.

Понравилась вышивка немцу или удивила только: заговорил, залопотал по-своему. Впрочем, для рядового, сидевшего рядом, это действительно звучало как лопотание. Лейтенант же только прикинулся непонятливым. Таким он прикидывался и позже. Постоянно прикидывался: то изумленно глядел на говоривших по-немецки, то пожимал плечами, то скучно, тупо выслушивал все, что ему преподносилось, отвечал односложно: «Их ферштее нихт». А чаще отрицательно мотал головой. Сейчас он смотрел на солдата с тоской, как на существо, отнявшее у него единственную радость – табак. Может быть, была в его глазах и злоба, потому что немец погрозил пальцем.

– Но, но!

А рядовой с запекшейся на щеке кровью закивал угодливо, улыбнулся солдату. Откинул полу шинели, принялся шарить где-то под гимнастеркой. Старательно возился там с минуту, так старательно, что глаза выпучились, а пилотка сползла на лоб. Вытащил из тайничка своего нераспечатанную пачку махорки и угодливо протянул немцу.

Конвоир удивился. Больше чем удивился. Не поверил. Его голова на тонкой шее некоторое время крутилась как у щенка, разглядывающего непонятное и диковинное, затем замерла. Он перевел взгляд на пленного лейтенанта и недовольно процедил:

– Нихт!

Подождал, пока пачка нехотя вернулась под полу шинели, и уже примирительно добавил:

– Их виль ниht...

И вдруг заорал:

– Ауф! Ауф штеен!

К пленным приближался майор в черном плаще. Он почти бежал, поправляя на ходу очки, сползавшие с носа.

Конвоир вытянулся перед офицером. Он ждал какого-то указания. И почти с полуслова все понял.

– Яволь, герр майор. – Повернулся к пленным, уже поднявшимся с земли, и пнул рядового стволом автомата.

– Ма-аш!

Они пошли. Пошли по шоссе. По грязному шоссе, истерзанному гусеницами танков. Рядовой чуть сзади, за локтем лейтенанта. Через интервал в два шага тащился конвоир.

### 3

Они шли. Шли весь остаток дня.

Шли утром. С рассвета, когда мутная даль стала едва проглядываться. Шли вначале втроем, потом к ним присоединили человек двадцать пленных. Худых, голодных. И четырех конвоиров. Двадцать семь человек тащились по шоссе, одолевая усталость и грязь. Она мучила так же, как голод. Пили мутную воду из кювета. Ложились на обочину и лакали.

Снова шли.

Ему казалось – не будет никогда конца этому серому шоссе. Не будет конца грузовикам, несшимся навстречу и швырявшим в лицо жидкой грязью. Не смолкнет однообразная, как карканье ворона, команда:

– Нах рехтс! Рехтс!

Они жались к краю дороги. Но не останавливались. Даже гнусавый конвоир не останавливался. Шагал сбоку, слева. Не шагал – волочил ноги. Теперь он тоже попал в конвейер и уже не мог задержаться.

У небольшого поселка к колонне присоединились еще сорок пленных и семеро конвоиров. Колонна вытянулась. Семьдесят четыре человека хлюпали по грязи и лужам. Грузовики неслись мимо как бешеные. У них не иссякли силы. А люди падали иногда. Раненые падали, вставали, поддерживаемые товарищами, и снова шли.

Вот тогда он подумал, что с этого дня ему суждено все время шагать. Шагать по грязи. Видеть под ногами шоссе. Видеть ноги. Только ноги. Поднимать голову становилось все труднее и труднее. Болела спина, болела шея, ломило затылок.

Он не увидел, а почувствовал, что начался дождь. Мелкий, холодный, обжигающий лицо. И тоже – без конца. Под дождем они протопали остаток дня. Остановки были дважды. Тут же на шоссе. На обочине. Конвоиры пожевали что-то в стороне, запили холодным кофе из фляг. Не глядя на пленных, припрятали остатки. Зашагали снова.

Он уже не думал, что «началось». Ничего не началось. И начнется ли! Так можно идти, идти, пока не упадешь на дороге и не закоченеешь. Околеешь с голода. Курить он теперь не хотел. Ничего не хотел. Ныл непрерывно желудок. Подташнивало. В ушах стоял какой-то тихий, гнетущий звон...

Старался не думать ни о чем, отгонял боль, усталость. Просто двигался, не отставал, не сбивал шага. Но думать приходилось. Мозг работал удивительно четко. Никогда, кажется, не было такой ясности мысли, такой прозрачности. Все выпукло, логично, без постороннего, мелкого, мешающего главному. «Мы идем к цели. Моей цели. Будет трудно. Постоянно трудно. Но останавливаться нельзя, нельзя сворачивать. Сейчас самое важное – жить».

Жить. Колонна неожиданно остановилась. Кто-то упал. Но пленные не засуетились, как обычно. Забежали конвоиры.

Оказалось, рухнул в грязь гнусавый немец. Не споткнулся, не оступился. Упал, как падают обессиленные: лицом вниз, поджав под себя автомат.

Фельдфебель – рослый, чернявый, с усиками – подошел к нему. Наклонился. Огромной пятерней вцепился в локоть. Потянул. Не помогло. Гнусавый не подавал никаких признаков жизни. Тогда фельдфебель обеими руками приподнял его, оттащил к обочине, посадил там, стал тормошить. Откупорил флягу, попытался сунуть гнусавому в рот. Кофе лилось мимо губ на шинель, оставляя темную, грязно-бурую полосу.

Ясно было – он не встанет, если даже жив, если это просто обморок, и фельдфебель озверел. Не потому, что гнусавый задерживал колонну, принес хлопоты конвою. Хлопоты – само собой. Он упал на глазах у пленных. Немецкий солдат – на земле. Фельдфебель завопил:

– Ма-аш! Шнель! – Рука потянулась к пистолету, не для угрозы. Фельдфебель готов был разрядить его в пленных, которые с любопытством смотрели на бесчувственного конвоира.

Колонна зашагала. Под дождем. Вслед летела приглушенная холодной моросью ругань. Стихла постепенно.

«Я не упаду. Я не должен упасть, – бодрила мысль. – Не имею права. Пусть этот немец лежит. Ему суждено. А мы пойдем, пойдем дальше». Чужая смерть (может, и не смерть) встревожила. Пугала. Он не знал, не предполагал, что падать

будут часто на его глазах. Падать рядом. Что смерть уже перестанет страшить его. Он привыкнет к смерти.

Можно ли привыкнуть? Сейчас он отверг эту мысль. Нет. Нет! Дальше от поворота, где лежит немец, их отгородят дождь, шоссе, лес, подступивший к дороге. Отгородит время.

Они идут и идут. По грязи. Она хлюпает под сапогами, под семидесятью... Почему под семидесятью? Под ста сорока четырьмя сапогами. Ему еще не изменило сознание. Мозг работает четко... Надо считать хотя бы сапоги. И шагать, шагать. Отдыха не будет.

Им дали отдых.

В сумерках колонна вошла в поселок, протащи́лась сквозь него по расхлябистой улице, темной, будто без окон, стала под навесами. Не было дождя. Здесь не было. Он лил по-прежнему, рядом лил.

– Ложись!

Впервые команда прозвучала по-русски.

Легли. Вначале там, где стояли. На мокром от ног. Потом поползли, как слепые котята, натываясь друг на друга в темноте, пыхтя, сплевывая с губ пыль, сырую пыль, что поднималась с земляного пола. К центру поползли, пока не стало плотно от тел, от голов и ног. Сжались. Он почему-то вспомнил овец, спасающихся от ледяного ветра. Стадо. Да, человеческого было мало. И нужно ли человеческое в такую минуту. Кто-то стонал, и ему захотелось уступить немощному место, но едва лишь отстранился, как несколько тел разом ринулись в просвет, отбросили стонавшего, смяли его.

Уснули. Кажется, было тепло. От тел, от мокрых шинелей, отдававших паром.

Никто не просил хлеба. Никто не искал воды. Только тепла.

Ему повезло. Он оказался почти в центре. Но ветер осенний летел вдоль навеса и бил в бока и спины. Мучил. Утром

они, прилипшие к человеческому островку, не встали. Им было жарко уже. Жар не покидал, он сжигал. Вечером следующего дня первая смерть пришла под навес. Вторая на рассвете.

Людей не поднимали. Видимо, марш кончился. Кончилось шоссе. Не хотелось думать, что оно существует, что еще тянется и тянется на запад, в самое сердце Германии. Да и зачем думать. Они лежали под навесом, кажется, забытые всеми. Всем миром. Безразличные, обессиленные, опустошенные.

Вот он – плен. Острое ощущение одиночества – нет, не физического, рядом было много людей, – заледенило сердце. Оторванные от близкого, привычного, родного, они потеряли общность душевного тепла. Каждый чувствовал лишь себя, если еще способен был что-то чувствовать. Единым остался голод. Он поражал всех, мучил всех. С лихорадочным блеском в глазах они смотрели на ворота, – когда рассвело, пленные поняли, что находятся в лагере, барак окружала проволочная изгородь в два ряда, а на углах стояли часовые. Ворота должны были когда-то открыться, должен был появиться хлеб. Хлеб! Только хлеб.

Ворота открылись. Но хлеба не оказалось. Въехала телега, обыкновенная крестьянская телега, слегка прикрытая брезентом. Ее тянула упитанная кобыла. На передке восседал старик бородач с черной повязкой на левом глазу. Лошадь остановилась рядом с навесом, а старик глухим, простужен-

ным голосом произнес:

– Ну, кто помер?

Никто не сообщал о мертвецах, никто не звал старика. Его прислали, руководствуясь простой логикой: марш и голлод должны были унести несколько жизней.

Когда показали на закоченевшие трупы – всего три, – бородач недовольно буркнул:

– Только-то...

Он даже не слез с телеги, не счел нужным проявить рвение, скомандовал:

– Ребятки, кто покрепче, а ну наваливай.

Желающих не оказалось: для собственной жизни, для борьбы за нее сберегал каждый остаток сил, о мертвецах пусть уж немцы заботятся.

– Народ пошел хуже скотины, – спокойно, но с укором прохрипел бородач. – Вам же вонять будет...

Слез с телеги. Кнутовищем ткнул в спины лежавших поблизости:

– Давай, давай шевелись!

Человек семь поднялись, тяжело поднялись и так же тяжело вскинули трупы на телегу. Не сразу вскинули. С полчаса повозились. Старик в это время сворачивал козью ножку, а чалая кобыла чесала об оглобли ухо.

Со скрипом повозка повернула назад, к воротам. Вслед старику закричали:

– Хлеб! Когда будет хлеб?

Он не оглянулся. Махнул рукой:

– Это не по моему ведомству.

Хлеб привезли к вечеру. На машине привезли, хотя могли бы донести в руках: всего пять кирпичиков на семьдесят человек. И еще бидон баланды. Горячей. Самое главное – горячей. Разлили кому во что досталось: у кого был солдатский котелок, у кого кружка, у кого ржавая банка из-под консервов. Эта посуда осталась надолго. Почти на весь плен.

Пили обжигаясь, стуча зубами. Пили мутную жижу. Кусочки брюквы выгребали пальцами и как лакомство обсасывали – кто был терпелив. Остальные глотали разом.

Хлеб делил один из пленных: рябой высокий сержант. Разрезал кирпич сначала вдоль, потом поперек на четырнадцать долек. Пока он резал, пять автоматчиков немцев стояли против навеса и настороженно смотрели на пленных, словно боялись, что вдруг голодная ватага кинется на рябого и растерзает буханку. «По автоматчику на кирпичик», – так потом острили люди. Острили, когда согрелись баландой и сжевали хлеб.

Дольки раздавали в строю. Впервые подняли людей и вытянули цепочкой вдоль навеса. Неровной цепочкой: кому нужен был порядок, кому нужна была четкость. Даже немцы и те об этом не беспокоились. Самое важное для них – чтобы никто не получил две дольки хлеба. Люди и дольки совпадали по количеству.

И все же рядовой, что сдался вместе с лейтенантом, круг-

лолицый, скуластый, с усиками, добыл две порции хлеба. Одну съел, вторую припрятал. Не особенно тщательно. Лейтенант увидел. Ничего не сказал. Впрочем, взгляда было достаточно.

Рядовой подмигнул многозначительно:

– Надо начинать новую жизнь.

Подсел поближе, фамильярно толкнул плечом: забыл черт, что рядом лейтенант! Хотя все сейчас были равны. Смешно делить на звания. Толкнул и сказал со вздохом:

– Одну пайку только заработал. Скупые фрицы. За такое могли бы и полбуханки отвалить.

Лейтенант не понял. Ничего не сказал. Он смотрел, как автоматчики сменяют постовых, как рябой сгребает крошки с доски, на которой резал кирпичики, и по одной бережно отправляет в рот. И рука у него дрожит. Теряет крошки. Теряет и снова находит, снова отправляет в рот.

– Если бы ты нашивки снял, больше бы дали... – продолжал свою мысль круглолицый.

Он опять ничего не понял, уловил только, что разговор идет о его звании, поднял брови, повернулся к рядовому:

– При чем тут мои петлицы?

Наивность лейтенанта развеселила круглолицего. Он даже хихикнул:

– Евреев, коммунистов и командиров немцы расстреливают... Догадался?

Да, он догадался. Догадался и поежился от холода. Внутри

только обожгла мысль о смерти. Заныло сердце. И тут же родилась дьявольская ненависть к сидящему рядом. Пальцы как-то невольно стиснулись в кулак, напряглись для удара. Он бы мог сейчас убить этого с усиками. Задушить даже.

– Сволочь!

С усиками продолжал улыбаться. Как-то грустно, фило-софски улыбаться: дескать, говори, что хочешь, а судьба наша такая, никуда не денешься. Надо жить.

Улыбка еще больше взъярила лейтенанта. С большим трудом он сдержал себя. Только процедил:

– На мне заработать решил?

Это не смутило круглолицего. Он будто сверху смотрел на обреченного человека и даже сожалел о его наивности.

– Больше пока не на ком...

– Шкура...

И вдруг лейтенант успокоился. Отрезвел. Произнес твердо:

– Меня не расстреляют... И нашивки останутся... И не расстреляют...

Убежденность была фанатической, как всплески экстаза. Не от веры шла. От упрямства, что ли. От безумного желания выстоять и достичь цели.

– Дай бог... – равнодушно кивнул сосед, – дай бог.

Так он узнал, что его поставили на кон. Поставил круглолицый. Игра началась. Играл круглолицый, играли немцы. Так он считал. Предполагал так.

И не ошибся. Только сроки мысленно сократил. Надеялся на близкий финал, а игра затянулась. Надолго. Во всяком случае, в этом лагере только заметил играющих, лишь первая карта была взята из колоды. А сколько впереди!

Иногда круглолицый выигрывал, иногда терпел поражение. Неудачи его печалили, но не сокрушали. Он знал, что у него в колоде козырь и рано или поздно победа за ним. Просто он хотел сорвать крупный банк и не торопился. Издали он поглядывал на лейтенанта, шурил свои раскосые глаза и что-то обдумывал. Когда тот ослабевал или казался больным, круглолицый начинал беспокоиться и шел на помощь. Дважды под этим навесом он делился с лейтенантом хлебом – кажется, последним, – доставал ему вторую порцию баланды, советовал, как уберечься от холода. Лейтенант терялся в догадках: кто этот с усиками – друг или враг? Казалось, что забота его была искренней, старания неутомимы, а жалость в глазах – почти материнская. Возможно, первый поступок, причиной которого могли быть минутная слабость или страх, осознан, и круглолицый пытается искупить вину. Хотелось верить в лучшее. И лейтенант отвечал на заботу о себе вниманием и даже искренностью. Пытался объяснить то, что для круглолицего представлялось загадочным.

После очередной раздачи баланды круглолицый хлопал себя по пустому животу и говорил:

– Странные эти немцы... Жадюги какие-то! Морят нас голодом. Неужели в Германии нет хлеба? Или брюквы?

Лейтенант задумчиво отвечал:

– Хлеб у них есть... Брюква тоже...

– Так в чем же дело? Пусть дадут.

– Не подошло время.

– Ха! Может, время подойдет, когда я сдохну.

– Не сдохнешь... – Лейтенант поглядел на собеседника

оценивающе, будто определял, действительно ли он выдюжит: – Ты не сдохнешь... Кое-кто, конечно, отдаст концы.

Многие лягут тут...

В узких прорезях глаз мелькнуло любопытство:

– Почему я?.. Я почему не умру?

– Ты ничего еще не сделал немцам.

– Э-э, не говори загадками...

– Разве не понятно?

– Нет.

– Подумай сам...

Круглолицый не хотел думать. Ему не надо было думать, для того он и вел разговор с лейтенантом, чтобы узнавать не свои, а чужие мысли.

– Хитрый ты человек, лейтенант. Ой, хитрый. – Вставал и уходил. Уходил на час или полчаса: бродил вокруг навеса, знакомился с людьми, выменивал что-нибудь или выпрашивал. Иногда добирался до часовых и пытался с ними завести разговор. Но успеха эта попытка обычно не имела. Он возвращался к лейтенанту и жаловался:

– Плохо, брат, не знаю я ни слова по-немецки.

– Зачем тебе немецкий язык?

– Как зачем?! Переводчик – первый человек в лагере.

Сыт-то уж всегда будешь.

– Ты и так не голоден.

Он довольно улыбался – признание его способностей добытчика всегда радовало. Но через мгновение уже терял добродушный облик и на лице появлялась озабоченность.

– Научил бы ты меня немецкому языку, что ли.

– Я не знаю...

– Врешь... Ты все врешь, брат.

– Ведь я же не соврал, что ты сыт... Почти сыт...

– Это правда, – снова раздвигал мясистые губы в улыбке. – Сегодня я три порции выменял на табак... А остальное врешь.

– И даже то, что ты будешь жить?

Это воспламенило тревогу. Круглолицый испуганно смотрел на лейтенанта: как бы тот не передумал и не изрек иную истину, более печальную.

– А ну тебя...

Дождь лил. Переставал. Снова лил. В просветах туч, когда он стихал и ветер работал где-то в высоте, проглядывало скудное позднеосеннее солнце. Торопливо сушило тропки вокруг навеса, каменило бугорки, и на затеплевшие спины их выползали люди. Грелись в шинелях, а кто снимал их, стогнял прель, что накопилась на гимнастерках.

На шестой день с утра засветило вольное солнце, ничем

не притуманенное, и небо, белесо-голубое, вставало над лагерем. Захотелось жить, дышать, радоваться солнцу, небу, ветру. Но тоска захлестнула душу. Тоска по родному.

Кто-то запел песню. Не русскую, но тягучую и бередящую сердце.

Круглолицый подошел к лейтенанту, лег рядом на теплый бугорок и сказал:

– Рябой плачет...

Лейтенант поднялся на локти, поискал глазами рябого. Нашел. Тот сидел у столба, подпиравшего навес, на самом солнце, и утирал ребром ладони слезы. Старательно. Вот так он подбирал крохи с доски, на которой резал хлеб.

Пел казах. Пел где-то за навесом. Невидимый. О степи пел широко, раздольно. И не грустно. А тоска наваливалась, слушать было неважно, горло стискивали спазмы.

Круглолицый поморщился:

– Нашел время петь... Глупый человек...

– Пусть поет, – придержал лейтенант поднимавшегося с земли соседа. – Не мешай ему...

Позже, когда песня смолкла и вообще все смолкло – бесценные люди дремали на солнце, – круглолицый поднялся и пошел искать казаха. Побродил с полчаса по лагерю. Вернулся с усмешкой на губах. Растормошил впавшего в забыть лейтенанта.

– Я так и думал.

– Что? – не догадался лейтенант.

– Он слепой...

– Кто?

– Певец этот. Фугас сжег глаза. Туман перед ним. Но скоро и тумана не будет...

Лейтенант прикусил губы. Отвернулся. Он попытался скрыть боль. Снова, как и от песни, спазмы сжимали горло.

– Только петь и осталось. – Круглолицый покачал головой, давая этим понять, что судьба казаха решена. – Конвоиры пристрелят его на дороге...

– Замолчи!

Смолк покорно и занял свое место на склоне бугорка, ближе к солнцу. Зажмурился, наслаждаясь теплом. Он уже засыпал, когда лейтенант тихо произнес:

– Отдашь ему мою пайку хлеба...

## 5

Седьмой и восьмой день прошли в покое. Солнце согрело. Они уже привыкли к ласке, обсушились. Ожили вроде.

Никто их не трогал. Никто не приходил в лагерь, если не считать утреннего визита бородача с кобылой, вечернего посещения автоматчиков, сопровождавших баланду и хлеб.

А на девятый день хлынул дождь. Похолодало. Зашумел, загудел ветер. Люди собрались в кучу, в самом центре, как в ту первую ночь. С дождем пришли тоска и тревога. И не случайно...

Только начало лить, как подкатил грузовик, немцы вроде ждали ненастья, или это просто совпало. Ворота распахнулись, и человек двенадцать автоматчиков вбежали во двор лагеря. Прозвучала уже почти забытая команда:

– Ауф штеен!

И еще торопливее:

– Ауф! Ауф!

Кто-то в плаще, с пистолетом на ремне закричал по-русски:

– Строиться! Быстро!

Они, пленные, все-таки плохо усвоили автоматизм. Вернее, еще не усвоили. Весь смысл был в том, чтобы мгновенно исполнять волю приказывающего и уже не отклоняться, не нарушать ритма, не отставать. Не усвоили, поэтому их пина-

ли ногами, били прикладами, подталкивали руганью. Главное, сами немцы торопились, навязывали какой-то неестественно бешеный, нервный темп. В нем все дрожало от тупого напряжения.

Позже лейтенант понял – это система. Это психологический прием, сминающий волю человека.

Сейчас пленные бежали, возбужденные внезапностью приказа и угрозами. Они строились около унтера, как вешка обозначавшего голову колонны. Их разбивали по трое в ряду.

– Где слепой?.. – зашептал лейтенант стоявшему рядом. – Где слепой?

Он оказался в седьмом ряду. Лейтенант поменялся местом с соседом сзади, потом так же со следующим и стал у плеча слепого.

– Держись за меня. Войди в серединку. Не останавливайся в дороге.

На лице казаха лежал страх. А может, и не страх, а решимость. Он сказал с болью:

– Лучше я останусь... Здесь...

– Расстреляют.

– Пусть...

Помолчал и добавил:

– Все равно ведь.

И он подался влево. Из колонны.

– Стой!

Сначала прошептал лейтенант. Потом крикнул унтер:

– Хальт!

Две, нет, шесть рук втиснули певца в строй. Цепко держали за локти.

– Живи... пока можно...

Дождь лил. Они сразу замолкли. Сгорбились. Склонили головы.

Унтер считал. Считал до одури медленно, повторял и повторял эту процедуру. Никак не мог уяснить, куда девались четыре человека. Наконец ему втолковали, что их увез бордач на кладбище.

– Гут, – понял наконец унтер и сделал пометку в блокноте.

Колонна двигалась. Снова по шоссе. По проклятому, грязному шоссе. Навстречу дождю, мукам и несчастьям.

Слепой шел ровно – чувствовал локти товарищей, но каждый шаг давался ему с трудом. Он страшился пустоты – впереди для него была пустота, и ногу приходилось ставить в неизвестное, ждать выбоину или камень, или канаву. От напряжения жилы на висках вздулись, а губы, стиснутые зубами, кровоточили. Он вздрагивал. Вздрагивал от неожиданного звука, от шума воды, хлынувшей вдруг в кювет, от покотившегося камешка, от слова, произнесенного ненароком.

На первом же километре слепой сдал:

– Не могу, братцы.

– Иди!

Лейтенант положил его руки себе на плечо.

– Не думай, не беспокойся. Если упадем, то вместе. Все вместе.

– Спасибо.

Шагали до вечера. До сумерек: дома, деревья рисовались неясными силуэтами. Колонна замерла. У края шоссе, мокрые, голодные, ждали около часа. Еще полчаса их пересчитывали. Только после этого повели по тропе к полотну железной дороги и вдоль нее до станции. Здесь стояли товарные вагоны. Кричал дико паровоз. Над самой головой, кажется. В дрожь бросало от этого вопля.

Сели на какие-то ящики. Снова ждали. Чего – неизвестно.

Подошел унтер. Худенький, в просторном плаще и от того казавшийся еще худее. Подошел к слепому. Спросил:

– Кранк?

Слепой не ответил.

Унтер долго – не из торопливых был этот служака, – долго смотрел на пленного. Потом почесал затылок, отчего фуражка съехала на лоб.

– Ком!

Слепой поднялся с ящика, но не сделал шага.

Унтер снова почесал затылок. Плюнул. Ушел один.

Вернулся с автоматчиком. Тот взял слепого за руку и увел. Куда? Неведомо. Больше слепого товарищи не видели. В вагон сели уже не шестьдесят девять, а шестьдесят восемь человек. Собственно, никто не считал людей, кроме унтера. Не было смысла в этих подсчетах. Да и перед кем отчитывать-

ся – перед Господом Богом, что ли? После четвертого переезда шестерых сняли с вагонов. Мертвых.

Живые, вернее те, кто считал себя живыми, не хотели думать о смерти. Какой-то крепыш в бушлате даже иронизировал: «Сюда бы деда с чалой кобылкой. Тут ему урожай». Он же, крепыш, сказал унтеру, когда тот на рассвете принял еще одного мертвого, и сокрушенно покачал головой: «Кормить, господин хороший, людей надо. Это ведь не медведи, чтобы лапу сосать. Сам-то небось набил брюхо». Унтер развел руками: «Их ферштее нихт». Потом насупил брови: «Швайген!» Это, последнее, знали все пленные: слышали от дежурных, от конвоиров, от часовых: «молчать». В любом случае – молчать!

Два вагона отцепили от состава на какой-то большой станции. Так по крайней мере решили узники. Мимо шли поезда, гремели буфера, лязгало железо. Почти непрерывно ревели паровозы. И лил дождь.

Их, кажется, опять позабыли.

Час, два, а может, и больше, сидели они в теплушках, само название которых звучало теперь иронически: холод пробрал до костей. Ничего не помогало: прижимались друг к другу, терли руки, ноги. Огонь гас в телах. Уткнувшись лицом в деревянную стенку, замирали. Дрема, сладкая, сковывала. Веки слипались, и лишь далекий, зовущий куда-то шум, будто песня, тревожил. Тревожил и успокаивал. Как волна теплая, накатывался и отступал.

Это было самое страшное.

– Не спите! – закричал лейтенант. Закричал дико. Неожиданно. Тронул кого-то. Кто-то заворочался. Застонал. – Сейчас придут. Сейчас откроют вагоны. Не спите!

Он ждал. Чего-то особенного. Важного для себя. Изнеможение от усталости, голод, холод – это все в прошлом. Это испытано. Оно может повториться, даже, наверное, повторится, но не удивит. А вот новое! Новое должно изменить ход событий, однообразных, бессмысленных по своей жестокости, по своей бесчеловечности. Тупое равнодушие хозяев убивало всякую надежду на достижение цели. А без цели – не было надобности во всех испытаниях, которые он встретил в плену.

– Пусть идут скорее, – застонал кто-то.

– Скорее! – подхватило несколько пленных. Как пламя подхватило, и оно полыхнуло. Впервые полыхнуло за эти две недели.

Десяток рук потянулись к двери, и доски отозвались грохотом.

– Тах! Тах! Трах-та-рах! Та-та-та-та!

К рукам присоединились ноги. Сапоги заработали как молотки, ухали по стенкам. По станции покати́лась дробь.

За этим гулом боя, а это был первый бой в плену, бой голыми руками, возбуждающий, ожесточающий и зовущий на риск, за этим гулом никто из них не услышал, как немцы подбежали к тупику – вагоны стояли в тупике, – раздалась

команда и солдаты вскинули автоматы. Рябой первым уловил очередь, первым почувствовал боль в плече. Пули решетили стенки теплушек.

Руки сразу отпрянули от досок. И люди тоже отпрянули. Легли. Затихли. Лишь один рябой стоял во весь рост, держался окровавленными пальцами за перекладину и хрипел: – Убивайте! Убивайте! Ну!

Так он и остался один над всеми. Безумный, обреченный и оттого прекрасный, как изваяние. Его расстреляли тут же, не выводя из вагона. Оторвали дверь – стоит. Офицер – пожилой, тучный, с плоской одутловатой мордой, – вынул пистолет и выстрелил в упор. Рябой подкосился. Рухнул на порог, ударился раненным плечом о доску, скатился вниз, под вагон, на рельсы. Не застонал. Был мертв.

Теперь о них вспомнили:

– Вас ист гешеен?

Картаво, грубо, торопливо произнес офицер официальную фразу. Только что убил человека и теперь спрашивал, что случилось. Никто, конечно, не ответил: не поняли. Впрочем, лейтенант понял, но не показал этого. Возможно, еще кто-то знал немецкий язык, однако объяснить не смог. Да и нужно ли было открывать рот? Звук привлекал внимание, офицер мог принять говорившего за подстрекателя бунта.

Немцы, особенно офицер, долго, выжидательно смотрели на пленных, лежавших ничком. Настороженно смотрели. И пистолет тоже уставился на них, горячий еще от выстре-

ла, с указательным пальцем на крючке, готовый снова вспыхнуть голубым пламенем.

– Их виль эссен! – сказал кто-то в углу теплушки. Неуверенно сказал, давясь буквами, по-школьному нажимая на гласные. Это, видимо, все, что было известно из немецкого. Сказал, но голову не приподнял. Только зашевелился. И пленные заметили бушлат. Крепыш! Осмелился все же.

Немцы почему-то захохотали. Смешно прозвучали слова о еде. Захохотал и офицер. Раскатилось эхом его «ха-ха-ха». Пистолет был моментально убран в кобуру. Автоматы в руках солдат опустились.

– Ауф! – довольно весело приказал офицер. – Ду, ду! – Он ткнул пальцем в сторону крепыша. – Ауф!

Тот поднял голову. Потом поднялся на колени. Показал на живот. Похлопал по нему.

Немцы снова засмеялись. Офицер пошарил в карманах своей просторной шинели, ничего не нашел, протянул руку к автоматчикам. Те тоже поковырялись в карманах. Один извлек что-то. Обгрызанную галету! Дал офицеру. От него она полетела в теплушку, шлепнулась на плечо крепышу, скатилась к коленям.

Это было похоже на цирковой номер. За галетой следили десятки глаз. Как следят за броском гимнаста к трапеции: не сорвется, не упадет ли? А когда галета скатилась к ногам, стали ждать, что будет дальше.

Ждали, но ничего не произошло. Крепыш не поднял га-

лету, не протянул к ней руку, даже не глянул вниз.

Улыбка на лице офицера стала гаснуть. Постепенно. Сначала потухла в глазах, потом на излучине губ. Они почерствели, сузились, вытянулись в нитку.

– Ауф штеен! – заревел он и разом облился малиновой краской. Весь. Даже руки побагровели.

С шумом толкая друг друга, встали пленные. Встал крепыш. Встал лейтенант.

Позже он подумал: «Вот величие человека. В таком ничтожном, в сущности, поступке. Маленьком, как капля». Смог бы он так поступить? Или как рябой? Твердо не ответил. Хотел бы показать собственное достоинство. Показать врагам. Когда-нибудь.

Знал твердо другое. Нельзя. Ему нельзя.

Полковник сказал. Там. В комнате с настольной лампой под зеленым абажуром. Лицо было тоже зеленоватым у полковника и плохо различалось. Лишь сдвинутые брови, нависшие над усталыми глазами, ясневели. Именно ясневели, а не темнели. Темными были глаза.

– Будьте самым обыкновенным. Неприметным.

Добавил:

– Даже плохим будьте. Но не особенно.

И еще:

– Не злить их.

– Кого?

– Немцев... Немцев вообще.

Немцев вообще – это значит всех. И всегда. Не противоречить системе. Именно системе. А систему он должен почувствовать, понять сам. Делать исключения. Гнусавый немец, например, что упал на шоссе, не в счет. О нем думалось как-то неопределенно, с каким-то раздвоенным чувством. Жалкое и трагическое связывалось с гнусавым. Больной был, что ли. Маленький человек. Человечек. Можно было забыть о нем. А вот сидел в голове. И в то же время гнусавый нес какую-то функцию в системе. Орал на пленных при виде начальства.

«И умереть нельзя. То есть можно. Легко потерять жизнь, когда в лицо и в спину постоянно смотрит автомат». Об этом подумал, роя могилу для рябого. Шестеро рыли. Больше двух-трех лопат никто из шестерых не в состоянии был одолеть. Задыхались. Сердце едва справлялось с обессиленным телом, где уж там работа! Рыли, а рядом лежал, как-то скрючившись, уже остывший давно рябой. Кровь тоже застыла. Обветрилась. Почти синей лентой лежала на руке.

Умереть нельзя. Опять-таки ему, лейтенанту.

– Ваша смерть исключается, – сказал полковник в той же комнате с зеленым абажуром. И на другой день повторил, прощаясь: – Смерть недопустима. Запомните это. – Вздохнул как-то странно, грустно даже. Видимо, умирали. Кто-то погиб уже на пути. На таком же пути. – Это, если хотите, самый высокий приказ. Приказ Родины...

Они вырыли все-таки могилу. Старались. Удивительно, но хотелось уложить товарища поудобнее. Хоть здесь, в земле. Страшное, леденящее сердце желание – сделать приятное уже неживому. Будто о себе думали: как там в холодной, мокрой матушке-земле. Зябко! Положили бережно. Не глядя закопали. Больно смотреть, как падают комья на лицо, на глаза.

А я не имею права умирать...

Я – не умру.

И он сказал круглолицему: «Меня не расстреляют». Верил, когда говорил.

Их накормили. До того, как начали рыть могилу. Всех. Баландой, конечно. Дали еще кофе суррогатный, неизвестно из чего приготовленный. Ели у склада станционного, усевшись на железные трубы, сложенные для отправки в Германию.

Отпивая из консервной банки баланду, глотками маленькими, чтобы продолжить удовольствие, он изучал немцев. Ему надо было изучать.

Эсэсовцы. Обычные лица. Вернее, обычные по линиям. И в то же время чем-то отличные от гнусавого или унтера щупленького. Здоровее, во всяком случае. Румянец на щеках. Глаза спокойные. Равнодушные. Еще что?

Нет, ничего особенного его наблюдение не открыло. Ничего. Напрасно он пытался сделать обобщение, установить закономерность.

Немцы тоже наблюдали. Тоже изучали. Закономерность они применили сразу.

– Офицер? – спросил старший из эсэсовцев, стрелявший в рябого. Стал рядом с лейтенантом и посмотрел пристально на его петлицы.

Это был первый вопрос, обращенный к нему за две недели плена. Пожалуй, даже первый разговор. Прикинуться непонимающим нельзя было. Слово такое произнесено, каждый

знает. И он кивнул. Пояснил.

– Лейтенант.

– О-о!

В тоне, каким эсэсовец произнес долгое «о», звучало и удивление, и уважение. Последнее, пожалуй, было ощутимее. К тому же немец посмотрел с интересом на петлицы, на кубики, округлил глаза, вздернул уголок губ. Видимо, это означало предел изумления. Больше того, офицер чуть огорчился сам-то он имел звание лишь главного фельдфебеля – гауптшарфюрера – и ожидал повышения. Чин лейтенанта был близкой мечтой, но пока что мечтой.

– Гут, – несколько смущенно, с легкой обидой выдавил эсэсовец.

Прежде чем отойти, спросил для формальности, не ожидая положительного ответа:

– Шпрехен зи дойч?

Молчание. Отрицательное движение головы.

– Гут.

Ничего не изменилось. Ничего не дал разговор с гауптшарфюрером. Ни лейтенанту, ни эсэсовцу. Удовлетворенное любопытство – и только. Зато круглолицего это заинтересовало.

– Тебя или шлепнут, – сказал он деловито, – или поставят старшим.

– Точно? – сыронизировал лейтенант.

– Точно.

– А что лучше, по-твоему?

Круглолицый завистливо вздохнул! Должно быть, он верил в удачу. Для себя.

– Еще спрашиваешь!..

Перед тем как им стать в строй – опять по трое, как и прежде, – круглолицый сказал печально:

– Я знал, что рябой умрет...

Лейтенант поправил:

– Его убили.

– Это все равно... Кто плачет над песней, тому не жить.

Они стали рядом: лейтенант в середине, круглолицый справа, в двух шагах от конвоира. Гауптшарфюрер обходил колонну, придерживая большой массивной ладонью пистолет. Сейчас должна была прозвучать команда: «Ма-аш!» Пленные тихо переговаривались, переступали с ноги на ногу. Стоял легкий гомон, смешанный с чавканьем грязи под сапогами. Этим шумом и воспользовался лейтенант, задал круглолицему вопрос, давно мучивший пленных.

– Куда дели слепого?

– Их спроси... Немцев.

– Ты лучше знаешь.

Круглолицый поежился.

– Дели куда надо... Без света ведь все равно...

Прижал глазами лейтенант негодяя. Черными, злыми, ненавидящими. Прижал к земле, опустил тот, ниже вроде стал. И еще словом зажал:

– Тебя-то хоть накормили?

– Не смей...

Шагнули вдоль полотна. Почти по насыпи. Утопили ноги в размягшем песке. Поплыли сапогами. Тут прошипел круглолицый:

– Ты коммунист... Коммунист!

Никто, кроме лейтенанта, не уловил этого шипения. Как-то слилось оно с чавканьем глины, с шумом шагов, с ревом близких паровозов, со свистом пара и звоном буферов.

Прошли мимо, почти мимо свежей могилы рябого. Засветлела желтой сыпучей горкой за рельсами, ближе к леску редкому. Все глянули на холмик. Кое-кто шапку приподнял, кто только рукой коснулся. Лейтенант коснулся – честь буд-то отдал.

Круглолицый тоже глянул. Просто. А может, и не просто. Глянул и отвернулся, ровно от свежей земли шел знобкий холодок.

– Ты, брат, коммунист, – снова сказал ему круглолицый. Теперь мягко, не утверждая, а вроде спрашивая.

Колонна стояла у ворот тюрьмы, что на Холодной горе, знаменитой старой тюрьмы Харькова. Она действительно поднималась несколько над ближними улицами, разрушенными бомбежкой. Серая, каменная тюрьма на Холодной горе.

Почему тюрьма? Зачем?

Когда-то на вышках с железными козырьками дежурили по наряду градоначальника солдаты. Сейчас оттуда выглядывали тупые рыла пулеметов. Холодная гора перешла в ведение СС. Появилась новая линия колючей проволоки, и над ней провода с током высокого напряжения.

Тюрьма. Зачем их привели в тюрьму? Сыпал первый ранний снежок. Сыпал весело, приплясывая на ветерке. Пока плясал – жил. Падал – исчезал в грязи. Таял на шапках и шинелях. Пленные, вытянув губы, ловили его и, кажется, чувствовали. А может, только казалось. Ведь что такое снежинка? Мираж. Воспоминание о чем-то светлом, далеком. Тает и тает.

– Ты ошибся, – ответил лейтенант.

– В таком не ошибаюсь, – вздернул уверенно головой круглолицый.

– Ошибся. Если бы я был коммунист, меня бы здесь не было... Живого, во всяком случае, не было...

– Вот, вот. Считаете себя лучше нас... Коммунист, ясно.

Что-то хорошее согрело душу. Обожгло. Дышать стало легче. И снег показался радостным. Пусть тает. Но ведь не всегда будет таять в грязи. Ляжет, скует морозом землю. Оденет в белизну. Все преобразится.

– И все-таки на этот раз ты ошибся. К сожалению для тебя.

– Н-нет, – упрямылся круглолицый, хотя уверенность уже сникла, покачнулась. Он придерживал ее как мог. – Н-нет.

Сырой ветер пробирал, проходил, кажется, насквозь: че-

рез шинели, через само тело. Выдувая остатки тепла. Жизнь выдувал.

– Что держат?

– Почему не пускают?

– Скорее!

Они просились в тюрьму. Как в дом, как в счастливое прибежище. Готовы были силой пробиться за эти каменные стены.

Все же ворота отворились. Со скрипом, с визгом. Железные, холодные, мокрые ворота, и они, люди, почти побежали внутрь, в тюрьму.

Он тоже бежал. Стучал сапогами по камням. Двор был выложен камнем, давным-давно, а камень живет вечно. Принял многих, тысячи принял. Принял и этих.

Еще ворота. Опять визг железа. Опять камень.

Люди. Тьма людей. От них тепло под открытым небом. От них идет пар. И смрад. Гниющее тело где-то. И не одно.

Он задохнулся. Под открытым небом дышать было нечем. Люди стояли. Почти все. Немногие лежали, тут же, на камнях. Смотрели невыносимо голодными глазами на вошедших. Белыми глазами – так показалось ему.

Теперь он понял, почему комендант так долго не хотел впускать новую колонну. Тюрьма была переполнена. Нет, не по числу мест в камерах. Физически переполнена: коридоры, карцеры, дворики, дворы – все забито буквально до отказа. Надзирателям ходить негде. Машина, очищавшая Холодную

гору от трупов, не могла въехать во двор.

Ад. Таким должен быть ад, если он только существует.

– Стоять!

Это их предупредили. На трех языках: русском, немецком, украинском. Могли и не предупреждать: тела держали друг друга как связанные стебли. Опуститься невозможно. Когда вошла колонна, стало еще теснее.

– Боже... – стонал кто-то. Бога звали, просили о смерти.

– За что? – вопрошали еще способные держаться на ногах.

Ответов не следовало. Они не предусматривались уставом. Бог тоже не отвечал.

– Утром будет просторнее, – сказал изможденный человек в штатском. Черный, с угасшими глазами.

Почему он здесь? Не пленный. Не похож на военного. И что-то знает. Знает тайну: «Утром будет просторнее...»

Утром начался расстрел.

Он читал о казнях. Разных. Слышал это слово и от очевидцев. Знал по картинам. Но не видел еще. Собственно, такое человек и не должен видеть. Никогда.

До рассвета среди пленных прошел слух: «После проверки впустят в камеры. Там сухо, там кормят».

Разве думал он, что проверка означает не что иное, как казнь по спискам. А кое-кто знал. Но им не верили, не хотели верить.

Круглолицый нашел его в темноте, среди плотно сбившихся тел, нашел с большим трудом и, не говоря ни слова,

стал шарить на груди, у шеи, на воротах гимнастерки.

– Что тебе нужно?

– Молчи.

Нащупал петлицы. Стал отрывать.

– Оставь.

– Молчи. – Сначала руками рвал, не одолел, вцепился зубами. Намертво вцепился – сорвал.

– В чем дело?

– Утром узнаешь.

Он узнал еще ночью: проверка имеет лишь одно назначение – убрать евреев и коммунистов.

Тьма стояла кромешная. Ни зги! Но по дыханию, по шепоту угадывалось состояние людей. Кто затихал вдруг, кто топорливо ловил воздух. Кто осторожно протискивался в толпе – уходил от того места, где услышал страшное. В этих каменных стенах, в этой массе тел искал прибежища от смерти. Инстинктивное желание спрятать себя. Наивное до сумасшествия.

Перед тем как посветлеть небу, перед утром самым, автомобильные фары рассекли темноту, пробились сквозь створки ворот, под сводами и внизу, у камней. Хриплая, густая сирена требовательно прорычала у железной стены. Рычала, пока не завизжали петли и не растворились створки. И едва растворились, как голубая волна света хлынула в просвет и окатила застывшую в немом страхе толпу. Все стало черно-голубым: и шинели, и бушлаты, и лица. И тысячи глаз

вспыхнули ужасом.

Отступили, отжались, хотя отступить было уже некуда – сзади стена.

Все поняли: прибыла смерть. От нее не отойти. Но можно чуточку, на ступню хотя бы, отстраниться.

Удивительно, ведь могла быть просто машина, могла привезти хлеб для находившихся в камерах, мало у ли что могли привезти. Нет. Ни о чем, кроме смерти, не подумали.

Десять... Двадцать... Тридцать автоматчиков спрыгнули с машины. Гулко, со стуком. На камни прыгали. Коваными немецкими сапогами. Становились в ряд на площадке в середине двора. Мотор не выключался. Рокотал, чадил гарью бензиновой. Душной и холодной. Потом машина попятилась назад, пошарила фарами вдоль стен и выкатилась в первый двор. Там стихла.

Автоматчики остались на месте.

И сразу стало светать.

Система работала четко. Ни минуты простоя, все рассчитано, все учтено. Не придется всматриваться в лица пленных, раздумывать, может, сожалеть. На человеческое времени не отпущено.

Он не предполагал, не знал, что жребий его выпал. Уже! Едва рассвело, судьба была решена. И петлицы были ни при чем. О них не думали. Не в них дело. Напрасно старался круглолицый, напрасно рвал зубами. Кажется, хотел спасти лейтенанта. Ошибся. Снова ошибся.

Сгоняли по двадцать-двадцать пять человек на голое пространство перед автоматчиками. Цепочкой сгоняли. Ставили лицом к эсэсовцу в форме оберштурмфюрера, а кто-то выкрикивал по-русски:

– Евреи и коммунисты вперед!

Снова, через несколько секунд:

– Евреи – два шага вперед... Коммунисты – три шага вперед.

Первая двадцатка не поредела. Никто не вышел.

Оберштурмфюрер, положив руки за борт шинели, продефилировал вдоль строя и, задерживаясь перед каждым, спрашивал:

– Коммунист?

– Еврей?

Не только спрашивал. Впивался своими маленькими голубенькими глазками, что-то высматривал. И, наверное, что-то видел. Возвращаясь назад, вынимал руки из-за борта и, тыкая то в одного, то в другого, коротко бросал:

– Ты... ты... ты...

Если не выходили и после этого, два эсэсовца выбивали названного из цепи. Ставили впереди шеренги.

Собственно, это не были евреи, не были коммунисты. Так сказать, предполагаемые евреи и коммунисты, основа, исходный контингент.

На линию вывели вторую цепочку. Снова та же самая процедура.

– Ты... ты... ты...

Снова автоматчики выбивают из строя названных, ставят впереди шеренги.

Голос зычно, кажется, на всю тюрьму, оповещает:

– Кто знает в лицо коммунистов, комиссаров – укажите!!!

Через паузу добавляет:

– Немецкое командование учтет эту услугу.

Трижды звучит призыв. Но никто не откликается, никто не выходит из толпы. Никто не показывает пальцем на стоящих перед автоматчиками. Все немое, недвижимое.

Он боялся круглолицего. Только его. Ни этих автоматчиков с белыми черепами на фуражках, ни оберштурмфюрера, просверливающего глазами пленных, ни вообще немцев, хотя они должны были решать его судьбу. Круглолицый держал в своей руке чужую жизнь. Мог оставить при себе, спрятать эту руку в карман шинели, будто озяб, просто опустить по швам. А мог и протянуть вперед, как оберштурмфюрер, ткнуть в лейтенанта: «Он!»

Другие тоже знали, видели его с кубиками в петлицах. Но о них сейчас не думалось. О круглолицем одним.

Пошла его цепочка, восьмая по счету. Немцы торопились – подталкивали, пинали, тыкали в спину автоматами. «Шнель! Шнель!»

Не шлось. Ноги не хотели переступить, не отрывались от камня. Если бы не толчки сзади, если бы не ругань, он не смог бы одолеть этих коротких десяти метров. Шагов было

больше, сорок один. На сорок втором стали. Сердце стонало, вопило. И от безумного стука все тело вздрагивало, билось в ознобе. Мелко-мелко тряслись коленки. От слабости хотелось закрыть глаза – веки смеживались.

– Юде?

Не его спрашивают. Справа где-то. Но ему кажется, слово ударяется в лицо, в виски. Нет, не ударяется, отдается только. Как эхо. Больно.

– Юде?

Кто-то вышел. Сам. Все повернули головы, вправо, вперед. В спину глянули. Увидели сутулые плечи, тонкую шею. Сжатые в кулаки пальцы.

– Юде? – третий раз спросил оберштурмфюрер. Не верил. Не понимал. Над сутулыми плечами, на затылке из-под пилотки глядели молодые русые волосы. Чуть в завитках.

Завитки колыхнулись, когда он сказал:

– Нет...

Оберштурмфюрер поднял брови, выдавил наружу свои крошечные голубые точки. Не повторил вопроса, только открыл рот. Ждал. Русоволосый объяснил:

– Коммунист...

Радость и испуг одновременно вычертились на мясистом лице оберштурмфюрера.

– Фольгенд!

Все тот же таинственный перевел на русский язык:

– Следующий! Есть еще коммунисты?

Второй шагнул вперед. Теперь слева. И туда повернулись головы. Уперлись взгляды в спину. Снова шинель. Бритый затылок, обвязанный старым грязным бинтом. Прежде бритый, сейчас как щетка. Черная щетка. Не русский. Узбек, видно.

Слабость вдруг исчезла. Сердце, правда, колотилось по-прежнему. Но без страха: «Мое место с ними. Рядом. Лучше в середине. Будет строй. Можно взяться за руки. Как братья!»

Шли секунды. Снова и снова, подхлестнутый неожиданной удачей, выкрикивал немец: «Фольгенд!»

– Я должен. Я обязан, – шептал он беззвучно. Одним взволнованным сердцем шептал. А в ушах отдавалось далекое и спокойное: «Ваша смерть исключается... Исключается...»

И он стоял. Стоял среди остальных, неопознанных. Молчал. А когда тех двоих повели, вернулся к нему страх. Опять вспомнил о круглолицем. Где-то сзади готовит удар. Выжидает. Или уже идет, протискивается в толпе, торопится, чтобы сказать свое: «Он!»

Не сказал круглолицый. Иуда не предал. Невероятно! Мог предать и воспользоваться этой возможностью. Впрочем, еще не кончена проверка. Оберштурмфюрер шагает вдоль цепочки и вглядывается. Впивается в лица. Вырос огромный, как чудовище, над лейтенантом. Вот его морда рядом. Бульдог, кажется, бульдог. Только глаза махонькие. Не соба-

чьи. Глаза взял у птицы. Есть такая птица, забыл, как называют ее. Точно недвижимые. Иголки. У птицы красные, а у эсэсовца голубые. Чистая бирюза.

Вырос, задавил лейтенанта, уплыл. Сердце сорвалось, захлестнутое покоем: «Спасен... Спасен!»

Нет.

– Ты!

Это его. Его выбивает пальцем оберштурмфюрер. Вернулся и осудил. Сразу. Словом одним к смерти.

– Ты.

Он мотнул головой. Невольно. Губы, сжатые до синевы, молчали. Но хотел, хотел крикнуть: «Нет!»

В поясницу уперся автомат. Шагнул. Как сказано было, три шага. Помнил эту беспощадную команду: «Коммунисты – три шага вперед». Остановила мысль на втором шаге: разве его вызывали как коммуниста? Два шага! Только два шага. В движении подняв ступню, замер. Ему показалось – вдруг в одном шаге спасение. Всего лишь в шаге.

Еще не смерть. Их повели в конец двора в невысокое строение с отпахнутой настежь дверью. Вталкивали. Заставили раздеваться. Здесь уже лежала гора шинелей, телогреек, бушлатов. Стояли сапоги, валялись ремни, как змеи. На голом полу переплелись.

Раздетых снова вталкивали в дверь – вторую, в соседнюю комнату. Холод. Злой, пробирающий до костей. Но его не чувствовали. Не замечали, как леденит тело настоящий на

сырой стуже камень. Тревожно билось все внутри, дробно постукивали зубы – в ожидании.

Раздевали не догола. Оставляли белье. Но во второй комнате заставили опускать шаровары. Унизительная процедура. Короткая и страшная по своим результатам.

– Рехтс!

Молодой врач, а может, и не врач, фельдшер. Впрочем, ничего не известно было. Проверку мог проводить человек, не имеющий никакого отношения к медицине. Да и при чем тут медицина. Наметанный глаз – и все. Но молодой врач – они считали его врачом – осматривал одну лишь часть тела и коротко определял:

– Рехтс!

– Аусганг!

«Аусганг!» звучало редко. Оберштурмфюрер, этот эсэсовский физиономист, почти не ошибался, отбирая пленных в строю, и врач лишь констатировал результаты, подтверждал способность офицера распознавать нации.

– Рехтс... Рехтс... Рехтс... Рехтс...

Его, лейтенанта, тоже обозначили «Рехтс». Врач, правда, был несколько удивлен таким обилием евреев. Он даже поднимал глаза, наивные, добрые по-детски, с длинными ресницами, и произносил извинительно: «Унглаублихфаль». Да, конечно, случай был невероятный – они не походили на евреев, многие не походили, но признавались, согласно указанию, евреями. Впрочем, удивление врача не имело никако-

го значения в данном случае. Работала система. И он – не врач, а только студент-медик, негодный к строевой службе – согласно системе определял: «Рехтс», что означало: направо в следующую дверь, в камеру предварительного заключения. В этой большой камере прежде держали прибывших заключенных, сортировали, распределяли. Здесь же заключенные ожидали отправки в этап. Теперь немцы скапливали в камере пленных перед расстрелом.

«Рехтс» – приговор к смерти, «Аусганг» – возвращение в первую комнату. Там можно было найти свою шинель, свои сапоги. Одеться. Спокойно одеться, пожившись от холода, потирая голые руки и ноги. Можно было облегченно вздохнуть.

Направо, в камеру, лейтенанта ввели. Эсэсовцы ввели. Никто не решался войти сам. Удерживался неведомой силой у врача, словно ждал чего-то. Другого решения. А этот юноша с детскими глазами и длинными ресницами повторял прежнее: «Рехтс». И не мог, не мог изменить его. Он тоже боялся расстрела.

Серая, грязная комната была набита полуголыми людьми. Все стояли, как и там, во дворе, плотно прижавшись друг к другу. Один лишь опустился на колени, пал лицом к земле. Он молился, обратясь к Мекке. Мусульманин. Из сырой, холодной камеры, обнаженный, что противно шариату, основам основ, он обращался к Аллаху. Через каменные стены, через проволочную изгородь с током высокого напряжения,

через вышки с жадными рылами пулеметов – к Богу. В Мекке, у Магомета, синело горячее небо и зеленели финики. Там был Бог.

Новые и новые люди входили в камеру. Обнаженные. Присоединялись к тем, кто уже отстоял здесь свои часы. Выстоял и обрел какое-то мужество. Какую-то философию. Сливались. Обезумевшие припадали к теплу многих, брали от них живинку. Успокаивались, если можно успокоиться перед концом.

Когда не один, не два, когда сто – дышится ровнее. Ведь мы все, все умрем. Упадём разом. Но так только говорил разум. Разгоряченный мозг. А хотелось жить. Жить!

Втолкнули одновременно пятерых, а шестой вошел сам. Последним вошел. Это был круглолицый. В глазах тревожный огонек, но отчаяния нет. Есть какая-то тайна. Он ищет. Торопливо ищет. Глаза засветлели. Увидел лейтенанта:

– Брат!

Хватает за руку. Шепчет:

– Не отходи, брат. Не отходи. Пусть ведут вместе.

Он уже знает: на расстрел выводят по десяти. На площади ждут автоматчики.

Как деловито, как ясно все, словно разговор касается не их жизни, а чего-то практически маловажного, во всяком случае требующего организаторского вмешательства. И деловитость эта, этот шепот заставляют насторожиться, прислушаться. Люди невольно тянутся к круглолицему: взгля-

дом, едва приметным движением губ выдают свое беспокойство. Некоторые говорят:

– Что такое?.. Что?

И в ответ – придавленное болью слово:

– Расстрел.

Не круглолицый произносит его. Другой, стоящий рядом. Это он вчера сказал: «Утром станет просторнее». Тогда было неясно, что имелось в виду, сейчас уточнено: расстрел. Знал, значит. Вечером ходил в штатском: серое бобриковое пальто с потертым «под котик» воротником, в кепке, сбитой набок, в старых с галошами ботинках. Одну галошу он где-то потерял и все разыскивал. Как этот странный человек попал сюда? Какое отношение имел к войне? Вчера думалось обо всем этом. Попадал на глаза и заставлял думать. Вчерашнее только промелькнуло, мгновенно, помогло узнать. Лицо тоже: очень смуглое, будто закопченное, нос с горбинкой, глаза печальные, волосы спадают черными прядями на левый висок, на вздернутую в каком-то нервном тике бровь.

На него смотрят, поэтому он объясняет, придерживая рукой спадающие с худых бедер кальсоны.

– Я шел мимо... Сына искал... Три дня как ушел из дому... Нет и нет... я спросил офицера: «Может быть, Гриша здесь?» И меня взяли. Ударили по лицу и взяли... – Боль в словах неизбывная. Но, кажется, ему больно за сына. О себе он уже не думает. – Где Гриша... Здесь его нет... Его никто не видел. Мальчик совсем... Пятнадцать лет. Без шапки

ушел...

– Теперь все равно... – произносит кто-то.

А кто-то вздыхает:

– Да...

Круглолицый шепчет:

– Не отходи, брат... Держи меня за руку.

Все нелепо, непонятно. Но лейтенант находит руку круглолицего, теплую почему-то, сжимает в своей ледяной ладони – слабой, непослушной.

– Мы будем вместе.

– Хорошо.

Он не просит, круглолицый, он поясняет и даже приказывает. Тянется к стоящему на коленях, рядом, молящемуся, цепляется в его плечо, поднимает.

– Во имя Аллаха, милостивого, всемогущего...

Истинный мусульманин никогда не прервет молитвы, если даже развернется земля или гром ударит с неба. Простое человеческое слово вообще не в счет, оно не слышно для говорящего с Богом. Но круглолицый напомнил о Всемогущем, напомнил на родном языке. Добавил.

– Сейчас не время утреннего намаза. Вставай, брат:

Молившийся с трудом повернул лицо. Но это было уже вероломство. Грех совершен, и если поднял лицо, можно встать и на ноги.

– Сыз мусульманмисыз? – спросил круглолицый, хотя вопрос был излишним: так молятся только мусульмане – и ши-

иты и сунниты.

– Ха.

Пожилой азербайджанец с вьющимися волосами и круглым носом уставился с испугом и надеждой на круглолицего: каждый вопрос в такой момент что-то значил, вернее, значил все: может быть, жизнь в нем. Ему почудилось – человек спрашивающий знает тайну, даст спасение.

– Мусульманман...

Какое там спасение!

Распахнулась дверь – не та, что вела к врачу, – во двор. Огромный, незнакомый, безлюдный. Залитый серым светом наволочного дня.

– Ма-аш!

Толкая друг друга, задевая голые локти, спины, волоча ноги, поплелись на свет. Ветер сырой бросил им в лица капельки ледяные. С крыши капало. Вчерашний снежок залежался на кромке и сейчас таял. Капли люди почувствовали, а холод – нет. Ничего не почувствовали. Даже тот, кто был босым, ступал по застуженным камням, как по теплу земли. Но друг от друга не отцеплялись. Так, слипшиися, единые, двигались, вздрагивая и затаивая дыхание.

Площади не было, кажется, конца. За камнем камень, за камнем камень. И где-то последний для них.

– Хальт!

Оцепенели мгновенно. Даже отшатнулись, словно под ногами на стыке камней был рубеж.

Два автоматчика отсчитали десяток и столкнули с места, погнали к стенке: «Фор!» Справа была стена. Кирпичная, с выбоинами – осыпалась штукатурка цементная и во двор глядели красно-желтые, с белыми плешинами соли прямоугольники. Внизу цемент вообще отпал, и кверху поднималась светло-зеленая плесень. А может, мох. И стебельки увядшей травы покачивались по ветру.

Погнали к стенке. Автоматчики остановились, а люди продолжали двигаться. Ближе, ближе. Уже идут вдоль.

И вдруг – раскатистый треск.

Почему-то все оглянулись к воротам. Там стояла цепочка эсэсовцев. Пленные увидели, как стреляют. Увидели вспышки выстрелов из автоматов, как они мечутся слева-направо и справа-налево. Но не сразу заметили, как упали товарищи у стены. Все десять. Последний, десятый, уцепился за камень, словно хотел уйти, и так полуповис над землей. Его сняли потом, когда убирали расстрелянных и вывозили из тюрьмы, в той самой машине, что перед рассветом доставила взвод автоматчиков.

Рука круглолицего все еще была в его ладони. Стиснутая, казавшаяся частицей собственного тела.

– Простимся, братья! – сказал лейтенант громко. Сказал, чтобы слышали не только рядом.

– Нет... Нет, – остановил его круглолицый.

Лейтенант все же крикнул вторым десяти шедшим к стене, к трупам товарищей:

– Прощайте!

Его рванул из толпы круглолицый. С силой. Но не мог вытянуть: не понимал лейтенант, зачем это. Рукой ухватил за локоть соседа своего – того самого, что искал сына, и так пытался задержаться. Тогда круглолицый вытянул их обоих. Как тяжеловоз, потащил на пустынные камни. На простор площади, на прицел автоматов.

Безумие!

Они сопротивлялись. Как могли. Был еще и четвертый, азербайджанец, его слева волок круглолицый.

Тот мотал головой, упирался. Упирался и потерявший сына. Пытался вырвать свой локоть. Странно. Для них имели какую-то ценность несколько минут, что даровало ожидание своей участи. Всего несколько минут. А тут – сразу смерть. Навстречу автоматной очереди.

– Оставь его, – прорычал, захлебываясь волнением, круглолицый. – Оставь!

Приказывал. Просил.

– Ну, оставь же.

И неожиданно выругался, грязно, жестоко.

Если бы мог, оторвал руку горбоносого, отгрыз ее. Но не время. Эсэсовцы у ворот смотрят непонимающе на плетущихся к центру площади четырех полуголых людей. На их возню. От цепочки отделяется штурмшарфюрер и, придерживая пистолет, бежит навстречу.

– Хальт! Хальт!

Вот тогда-то круглолицый и поднял руки, сцепленные пальцами с товарищами, и завопил хрипло:

– Му-ха-ме-дан!

На всю площадь.

– Му-ха-ме-дан!

Дернул руку лейтенанта, давая понять, что старается не для себя одного, что нужна подмога. И вдвоем, потом вчетвером они разнесли на всю площадь:

– Му-ха-ме-дан!!!

Неизвестно, как оценил все это штурмшарфюрер. О бунте или попытке напасть на взвод автоматчиков не могло быть и речи. Ему просто показалось, что люди сошли с ума. Во время расстрелов и не такое случается. Все же он предупредил:

– Цурюк!

А когда подбежал, спросил раздраженно:

– Вас ист гешеен?

Едва не сорвался с губ лейтенанта ответ – четкий, ясный. Такой нужный сейчас. Что-то остановило. Все то же подсознательно продиктовало: ни слова по-немецки. А нужно ли было сейчас это приказание? Зачем оно? В земле тайна не имела никакой ценности. Только при жизни. Значит, он думал о жизни.

– Юде найн! – выдохнул из себя круглолицый и помотал головой. – Не евреи...

– Вас хат ер гезахт? – насупился штурмшарфюрер. Это четверо сумасшедших мешали ему выполнять приказ. Како-

го дьявола они вылезли на площадь и морочат голову в такой момент?

– Вир Мухаммед... Вир мусульман... – пытался, ломая язык, объяснить круглолицый.

– Цум тойфель! – Плюнул немец. С остервенением. Нарушался порядок. Он мог, конечно, прихлопнуть четверку. Тут же, из пистолета. И никакой ответственности за подобный поступок не нес: все, кого вывели на площадь, должны были умереть. Приказ у него на руках, процедуры соблюдены, формальности тоже. В конце концов он не имеет права что-то изменить, хотя лично ему абсолютно безразлично, лягут эти четверо или останутся жить. Главное, к двенадцати закончить операцию. Сейчас уже десять тридцать пять. Какие-нибудь час и двадцать пять, нет, уже двадцать четыре минуты у него в распоряжении. Штурмшарфюрер рычит в отчаянии:

– Цум тойфель!!!

Поворачивается, бежит назад к воротам, к маленькой двери, приютившейся рядом с железными створками. Полы шинели плещутся в разные стороны, фуражка съезжает на затылок.

Десять минут отсрочки. Молчат автоматы, молчит площадь. Только скрипит дверь, распахнутая штурмшарфюрером. Не затворил за собой – некогда было, и ветер трогает ее, заставляет скулить уныло.

Десять минут. Всего лишь. Но это жизнь. И как дорога она. Смерть, кажется, уже ушла. Далеко. Если эти четверо прогнали ее, значит, можно и остальным сделать то же.

Они, полуголые, чувствуют холод. Ежатся, трут тело. Переступают с ноги на ногу. Тепло все-таки необходимо. Это ведь жизнь. А им даровано еще немного жизни.

Четверых ведут в конец площадки. В ту же самую калитку или дверь. Ведут и бьют. Неизвестно, за что бьют, но не убивают.

Приклады ложатся то на спину, то на плечи, то на поясницу. И больно, страшно. Но они, четверо, не плачут, не стонут. Они молчат терпеливо.

Сзади раздаются автоматные очереди. Одна, другая. Крик у стены:

– А-а!!!

Не выдержал кто-то. Бросил немцам свой испуг. Свою человеческую слабость. Жалость кольнула всех.

И пока они шли сквозь калитку, слышали очереди. Слышали тот угасший крик. Снова очереди. Молчание. Опять очереди. Все это мимо. Уже мимо. Впереди холод, ветер. И жизнь.

– Зачем ты взял этого еврея? – ворчал круглолицый, напяливая на себя чужую гимнастерку. Крепкую, новенькую еще. Собственно, почему чужую? Она никому не принадлежала. Не взял хозяин, значит, мертв. Ему на том свете все равно.

– Молчи, – устало отозвался лейтенант. Покосился на горбоносого, разыскивавшего в куче шинели свое серое бобриковое пальто.

– Нет, ты скажи, зачем взял его?

– За тем же, что и ты Мустафу.

– Он мусульманин. А этот... – Глаза круглолицего сверкали гневом. Свою злобу бросал горбоносому: – Этот...

– Этот... человек.

– Ой, плохо ты кончишь, брат...

– Мы же уговорились с тобой кончить только хорошо... – пошутил лейтенант. Впервые пошутил. Без улыбки. С печалью какой-то в голосе.

Круглолицый оглядел несколько шинелей. Все они показались ему недостаточно надежными: рассчитывал на годы. Взял свою, в которой пришел в это чистилище. Надел, оправил полы.

– Послужит еще...

Вышел.

А горбоносый все копался, копался в ворохе обмундиро-

вания. Качал головой, задумывался. Минутами стоял, вперившись глазами в серую горку.

Лейтенант окликнул его:

– Ваша шинель здесь.

– Шинель?

– Да.

Протянул горбоносому чье-то обмундирование, первое попавшееся на глаза.

– Вот эта.

– Н-нет.

– Одевайтесь... – Мягко, как ребенку, пояснил: – Она. –

И посмотрел с состраданием: – Пальто может вас снова привести туда... – Кивнул на дверь, за стену, где уже не слышались выстрелы, но рокотала машина и раздавались голоса пленных: грузили трупы.

– Вы думаете?

– Одевайтесь быстрее...

Горбоносый вдруг все осознал. Мгновенно. И торопливо, плутая в рукавах своими неумелыми длинными руками, стал напяливать на себя гимнастерку, шинель. Шаровары и сапоги надел позже. Согнулся в три погибели, колесом, достал носок и натянул на него голенище.

– Вы солдат... Просто солдат. Везли на передовую обед...

И вас взяли...

Горбоносый застегивал шинель и кивал, кивал.

– Запомнили?

– Слава богу, память еще не оставила меня... Слава богу.

– Вы, наверно, бывали когда-нибудь в Азии?

– Нет.

– Где же?

– Я родился в Харькове... Я мог бы и умереть здесь.

– Думайте... Вспоминайте географию. Слушайте, что говорят другие...

Снова кивал горбоносый, но теперь растерянно, испуганно...

– Конечно... Конечно... я постараюсь...

Лейтенант встал с земли – портянка мучила его долго, – одни дыры, перепрело все. Встал и протянул руку горбоносому.

– Хочу, чтобы вы жили...

Горбоносый ухватился за нее и со страхом и надеждой, как любой, брошенный на дороге, чужой, незнакомой дороге, прошептал:

– Спасибо...

– Мы никогда не увидимся... вы забудете меня, как только выйдете отсюда...

Рука все еще была стиснута. И лейтенант осторожно, но настойчиво вытянул ее из цепких пальцев.

– Как ваше имя? – робко спросил горбоносый.

– У меня нет его...

– Простите.

С тоской и страхом, все с тем же страхом одинокого, от-

ставшего от близких человека, горбоносый проводил взглядом лейтенанта, а у дверей окликнул:

– В моем пальто карточка сына...

Пришлось задержаться. Пришлось с болью подумать: «Нет. Он не сможет...»

– Уходите... Сейчас же...

Он пропустил горбоносого впереди себя. Подождал, пока тот переступит порог. Шепнул:

– Прощайте, товарищ...

Ему выпал двадцать шестой номер в списке на отправку. Это обеспокоило. Без оснований, а обеспокоило: «Что за совпадение? Или умысел? Кто-нибудь знает о существовании “двадцать шестого”? Писарь хотя бы! Послунявил химический карандаш, вывел стройную, красивую шестерку и, сложив губки бантиком, фиолетовые от бесконечного обсыхания огрызка, объявил: “Ваш номер двадцать шестой. Запомните на всякий случай, могут проверить”».

Совпадение, конечно. Но настроение испорчено. Всякая дрянь лезет в голову. А тут еще круглолицый:

– Ты все-таки коммунист, брат...

Сказал не в ту минуту, когда переписывали пленных, а после обеда, жалкого обеда из бурды, называемой супом, и кусочка хлеба, похожего на запеченную мякину. Имена обоих были уже известны. Лейтенант Саид Исламбек, круглолицый – Азиз Рахманов, или, как он себя называл при опросе,

«Азиз Рахман». Назвал не без гордости, хотя ни писарь, ни окружавшие, что ждали своей очереди, не выразили удивления, да они и не слушали никого. К тому же мало кто называл настоящие свои фамилии, если не был известен товарищам. Что-то останавливало, мешало быть искренним.

Свое имя лейтенант произнес спокойно, словно всегда пользовался им. К звуку, правда, еще не привык: занятия по освоению «собственной» биографии продолжались не так уж долго, притом почти двадцатидневное молчание в лагере отдалило знакомое ощущение: сны, а их было великое множество, опровергали приобретенное по необходимости прошлое. Оно не жило в снах. Ночами он становился самим собой, дышал чем-то близким, родным, и сердце захлебывалось радостью. Просыпался с улыбкой, и если что-нибудь не напоминало о реальности – вздох товарища или окрик часового, – он несколько минут пребывал в прошлом: улыбка оставалась с ним, жила коротко, но светло. Ее сгоняли. Сгоняли обычно руганью. Ругались все – начиная от немцев и кончая пленными. Это было выражением злобы против всего, выражением отчаяния и усталости. Немцы ненавидели тех, кого охраняли, охраняемые ненавидели своих надзирателей. Можно было бы оставить друг друга, разойтись – простая человеческая логика оправдывала подобную мысль, – но одновременно действовал другой закон, утверждающий ненависть. И она стала частицей существования. Частицей, которая не убывала, а росла, заполняя не только сердце, но

и все существо.

Странно, что ненависть к настоящему не душила прошлого. Оно жило каким-то контрастом, ярким до боли. Жило упрямо, вспыхивая то восторгом, то грустью, то неизбывной тоской. То слезой. Скупой и отрадной.

Прошрое мешало называть себя Саидом. Оно возвращало к другому имени, которое не желало оставить его. Не желало умирать в угоду немцам. Ведь это для них, для них он Саид. А для себя...

Он огляделся. Не наблюдает ли кто за ним. И шептал. Нет, не шептал, мыслью лишь называл родное слово. И тут же сердился. Ругал себя: «Малодушный, безвольный человек. Ты не имеешь права баловать сердце. Всякое повторение прошлого губительно для чувств. Оно раздваивает сознание, мешает сжиться с новым». И он принимался думать об окружающем, искал точку для наблюдения, произносил твердо: «Саид – друг немцев. Во всяком случае, он принимает идею нацистов. Готов служить им. Таков Саид. А Хасан – это я». Гадливое чувство наполняло его. И он ругался, ругался до исступления.

В такие минуты обязательно появлялась рожа Азиза.

– Кого ты бранишь, Саиджан?

– Себя.

– Себя бранит только котел, в который не уместилось все сало... От жадности бранит...

– Я ругаюсь оттого, что вообще не вижу сала.

– Ха! Ты рано распустил живот – до угощения еще далеко.

– А оно будет?

– Ташкентский плов не обещаю, но шурпу наверняка отдаем...

Он часто говорил о вкусных вещах. Умел приправить баланду воспоминанием о жареной баранине. Морщил нос и аппетитно тянул воздух, словно чувал аромат подрумяненного на углях мяса или упавшей капли сала в огонь.

Хорошо, что Азиз так бездумно воспринимал грядущее. Это помогало. Помогало всем. И ему, Саиду, тоже облегчало борьбу пока с самим собой. Но часто навязчивость Рахманова настораживала: он, казалось, следил. Во всяком случае, глаза с раскосинкой постоянно были где-то рядом. Видели. Видели все: и мрачную насупленность бровей в минуту раздумья, и растерянность, и улыбку, и эту злобу, когда приходилось разряжать себя грубым словом.

– Ты болен, – не спрашивал, а утверждал Азиз. – Болен старой болезнью... Еще оттуда. – Он кивал в далекое, неопределенно где находившееся: не то на север, не то на восток, не то на юг. Но всегда почему-то сзади, за спиной Ази-за. Лицом редко туда оборачивался. – А болезнь, брат, такая штука, если ее не выплюнешь сразу, задушит постепенно... – И подумав, добавлял: – Не плачь над песней... как рябой...

Свою философию, неясно высказанную еще, но ясно определявшую поступки, Азиз раскрывал перед братом, как он называл Саида. Трудно было понять, для чего он это де-

дает, зачем столько усилий: вряд ли пытался обратить лейтенанта в «свою веру». Вроде заботился о нем, о его спасении. Иначе нельзя было понять восточную пословицу, произнесенную к случаю: «Когда петух поет не вовремя, ему сносят голову». Себя не имел в виду. Только Саида! Предостерегал. Зачем?

Не все ли равно, где снесут голову петуху. И когда? На Холодной горе, в первый месяц плена, или позже, в Германии. Должно быть, это имело значение для Азиза. Во всяком случае, он оттягивал конец. Забота «о брате» после объявления фамилий стала еще ревностнее. Рахманов приглядывался к Саиду, повторял к случаю и не к случаю слово «Исламбек», смаковал его. И если Саид не сразу откликнулся на свою фамилию, Азиз загадочно улыбался. Однажды сказал: «Молоды для такого имени... брат мой...» Саид насторожился – круглолицый что-то знает. Или догадывается. Откуда? Или просто проверяет. Это его ремесло – открывать тайны и сбывать их немцам.

Двадцать шестым лейтенанта вывели из камеры. Под таким же номером он прошагал к вокзалу и под ним же был впущен в вагон – полуразбитый, чудом стоявший на рельсах после бомбежки. Азиз значился двенадцатым. Он все время был впереди, все две недели. Впрочем, шла уже третья.

Саид отсчитывал каждые сутки. Упражнял память. Сколько еще томительных и пока бесплодных дней придется за-

сечь, прежде чем удастся повторить: «Началось»? Пока что он топтался на месте, даже отошел назад. Оттолкнули, отбросили, едва не вычеркнули вообще. Когда на тюремной площади он кричал «Мухамедан!», земля, кажется, разверзлась под ним, какие-то секунды отделяли их, четверых, от конца. Теперь он снова стоял на ногах, почти твердо, во всяком случае несколько дней, а часов-то уже наверняка. Ничто не угрожало ему. Стучит, покачиваясь, вагон, погромыхивают колеса на стыках рельс, поют уныло паровозные гудки. Томительная, расслабляющая тишина.

К слабости они привыкли. Можно привыкнуть и к этому, если раз за разом уменьшается запас сил и тело мякнет, сдаст. Хочется спать. Когда не кричат конвоиры, когда не звякают засовы на дверях и ничто не обещает перемен, веки смежаются сами, приходит сон. Даже не сон, а дремота. Спишь и в то же время не спишь, видишь сны и ощущаешь явь. Все смешалось, все приглушено и окутано тихим звоном.

Мозг работает. Пока тело погружено в покой, мозг решает задачу. Заданную давно. Решает пока теоретически. Вдруг, например, вспыхнет мысль: надо остаться одному, отойти от Азиза. Эта мысль появляется все чаще. Но пока никакого конкретного плана не возникает в голове лейтенанта. Он пытался избежать соседства в списке, однако дальше чем на четырнадцать номеров не отодвинулся. Было желание сесть в другой вагон – эсэсовцы втискивали поплотнее в теплушку, и Азиз оказался рядом. Из вагона не выпрыгнешь, от поез-

да не отстанешь. Судьба связывает их в одну цепочку. Это опасно. Опасно для будущего.

Еще мысль: кто такие эсэсовцы? Нет, не по облику, не по положению в системе нацизма. Это он знал. Что в них особенного? Сможет ли он стоять рядом с ними и не быть похожим на тех, кто едва не расстрелял его?

– Мы едем в Кумлагерь, – сказал ему Азиз. Он уже знал маршрут. – Там все решится.

Черт возьми, этот круглолицый читал его мысли, догадывался, что ли?

«Почему Азиз легко попадает в точку? Он не психолог. Просто я слишком замкнут, слишком сосредоточен. Со стороны эта внутренняя работа кажется странной. Значит, я к чему-то готовлюсь, что-то решаю. Для Азиза может быть только одно решение: служить немцам, так по крайней мере он сам высказывается, намеками, но высказывается. И также решает за меня, “Исламбека”».

– В Кумлагере люди долго не задерживаются, – объяснил Азиз. – Или... или...

– Третьего «или» нет? – спросил Саид.

– Есть. – Рот Азиза скривился в брезгливой усмешке. – Ты хочешь хлебать баланду и стучать молотком на каменоломне?

Лейтенант выжидательно промолчал: пусть круглолицый доскажет. И тот за него ответил:

– Нет, ты не хочешь ворочать камни.

Лейтенант снова промолчал. Азиз принял это молчание как проявление малодушия – отчаяние сломило человека, и он не знает, куда податься.

– В общем, там все решится.

Неужели началось?

В полдень их повели от железнодорожной ветки к небольшому ельнику, заполнявшему пологий холм. Деревья стояли негусто, не то часть их вырубали топорами на топливо, не то не смогли сами сцепиться, сил не хватило одолеть песчанник. Ели – те хоть парами, тройками взбирались по склону, а сосны – их было всего несколько, – раскинулись вдали друг от друга, словно их назначили часовыми. На самой высоте прижался к земле кустарник, пятнами то там, то здесь.

День был ветреный, и ели мотали ветвями, шумели. Сосны поскрипывали, едва покачивая макушками. Этот говор леса с тревогой и тоской слушали пленные, огибая холм и поглядывая на темно-изумрудную хвою. Жаль было отчего-то деревья. Никто, никто не подумал, что в этом лесу скоро поднимутся холмики. Их могилы.

Разве о таком думается – шумят ели. Шумит жизнь. Шагали по двое к теплу. Впереди светлела вышка лагеря, – а где лагерь, там для них прибежище от ветра и холода.

Началось именно здесь. На польской земле. В Беньяминово. Недалеко от почти безлюдной деревушки.

Кумлагерь. Так называли его пленные. Кум по-тюркски – песок. Песчаный лагерь. Песку было много. Всюду песок.

Говорят, на песке хорошо родится картофель. Может быть. Картофеля они не видели. Один раз им дали пойло из картофельной шелухи. Горячую, пахнущую чем-то знакомым жижу. Картофелем. Но это было позже. Сейчас они шли строем, по двое. Впереди, слева, справа, сзади – эсэсовцы с автоматами.

Шагали молча. Он, Саид, видимо, один-единственный из всего строя, с нетерпением ожидал лагерных ворот. Верил в слова Азиза: «Там все решится...» Мысленно опережал события, сокращал мучительно однообразные процедуры проверки, сортировки, перескакивал через голод, наказания, через все, что было обязательным, но не нужным. Главное – начало.

Их провели мимо часовых во двор, огромный двор, обнесенный колючей проволокой, перегороденный внутри тоже проволочными заборами, прогнали через калитки в заборах и впустили в деревянный барак. Совершенно пустой.

– Хинлеген!

Легли сразу. Знали по опыту – это первая команда после любого марша, после любой проверки. Причем немец, произносивший команду, показал ее наглядным жестом: опустил вниз большой палец – лежать. Лежать, где остановился, будь то голая земля, снег, грязь, камень. Здесь им повезло: деревянный пол.

Ужина не ждали. Ничего не ждали. Только утра. Утром

могло потеплеть. Ночь оказалась невыносимой. Мороз и ветер. Ветер с того самого холма, где шумели сосны. Так казалось.

Он ждал утра и ждал «начала».

«Началось» после казни пленного политрука. Никто не знал, что он политрук. Никто, кроме Саида. В этом был убежден Саид. Берег тайну, как может беречь ее друг, брат.

Политрук был ранен. Левое плечо еще кровянело, свежее пятнышко алело на старой перевязке под распахнутой шинелью.

– Не заживет, – пояснил политрук.

– Почему?

– Видно, кость затронута. Да и осколок там...

«Сдался не по доброй воле, – подумал Саид. – Вообще не сдавался, его, наверное, взяли немцы силой, а то и в бессознательном состоянии. – Каким-то укором звучал этот вывод для Саида. – Я, кажется, один здесь без царапинки».

– Потом оперируют... – подбодрил он политрука. – Направят на постоянное место и там вынут осколок.

– Вы шутите... Больных списывают до отправки...

Политрук это произнес без страха, хотя списание означало не что иное, как умерщвление.

Кажется, он готов был ко всему. И в то же время постоянно захлопывал борта шинели, словно оберегался простуды. Не хотел, чтобы эсэсовцы видели кровотокающую рану. Других, не Саида, заверял: она заживет.

Так сказал и круглолицему. Тот не обратил внимания на

перевязку, его не занимала чужая боль, но он вцепился в политрука и стал опекать так же, как и Саида. Добывал лишние пайки хлеба, подарил ему свой объемистый котелок, на случай, если кашевару взбредет в голову увеличить норму на полковша. Часами просиживал у ног раненого, сетуя на трудности подневольного житья.

Саид как-то предупредил политрука, намекнул на опасность такой дружбы. Тот помрачнел:

– Поздно.

– Что поздно?

– Я поделился с ним тайной.

Минуту они оба молчали. Утешать было незачем. Да и политрук сам понимал, чем грозило ему возможное предательство круглолицего.

– Поздно, друг.

– Какова тайна?

Политрук доверился еще раз. С первого дня в Кум-лагере он сколачивает группу для побега. Отсюда уйти легче, близка родная земля, на ней каждый кустик прикроет. Да и фронт не за горами. Свои! В группу решил включить круглолицего: немцы посылают его в лесок за топливом для кухни. Если в носильщики возьмет с собой политрука с товарищами, можно уйти. Придушить конвоира и уйти.

Саид чуточку успокоился.

– С этим круглолицый подождет. Даст выйти из зоны, пустит в лесок и дальше, за него. А потом уже прокукарекает

немцам. Они схватят горяченьких на бегу...

– Пожалуй, – согласился политрук.

– Товарищей не назвал?

– Нет.

– Интересуется?

– Не особенно. Уговорились – назову перед нарядом в день выхода.

– День назначили?

– Пока нет.

– Тяни.

– Сколько?

– С неделю.

Круглолицый ждал. Он ходил взволнованный, с горящими глазами, покусывая губы, – всегда покусывал, если не терпелось достичь желаемого. Не дождался. Сам назвал день: завтра. В субботу, значит. Политрук отказался. Придумал причину. Но, видно, неубедительную. Азиз поглядел внимательно на его серое, почти бескровное лицо. Усмехнулся.

– Струсил?

– Чепуха.

– Беги завтра... Потом поздно будет.

– Нет.

– Ну, как знаешь. У каждого своя голова на плечах...

Надо было все-таки бежать. Попытаться хотя бы. Немцы уже знали о заговоре и готовились. Так казалось Саиду. А возможно, он просто фиксировал случайные детали,

акцентировал их, обобщал, придавая особый смысл самым обычным вещам.

Накануне днем приезжал унтерштурмфюрер с овчаркой. Великолепной черно-палевой овчаркой, сидевшей рядом с водителем. Саид любил собак и не мог не восхититься таким чудесным экземпляром. Пес водил ушами, ловя звуки, доносившиеся из бараков, вглядывался в людей, но не проявлял никакой враждебности. Должно быть, его держали не для розыска пленных, просто украшал дом своего хозяина. Однако Саид истолковал появление овчарки как репетицию завтрашней облавы.

Вечером Азиз принес политруку вторую пайку хлеба и полкотелка кофе – серо-бурого напитка, пахнувшего горелой свеклой.

– Пей, брат.

Политрук понимал, кто такой Азиз, боялся и ненавидел его, но глаза подающего кружку были такими добрыми, ясными, что он принял кофе и выпил жадно, залпом. Впрочем, кофе не имел никакого отношения к судьбе его. За эту бурду не продаст товарищей, никого не продаст. А если яд в ней, так тем лучше. Проще, во всяком случае: рано или поздно больного спишут или отправят в клинику для испытания на нем немецких химических препаратов. Он слышал об этом.

Верно, котелок кофе не сыграл никакой роли. Азиз не узнал ничего нового, политрук не дополнил портрет Иуды,

уже нарисованный Саидом. Все осталось на своем месте. Одно уточнил Азиз:

– Не побежишь?

– Не могу... Сил нет...

– И не будет?

Политрук задумался: спрашивают или утверждают? Видимо, утверждают. Значит, расправа наступит слишком скоро. Жить все-таки хочется. Он застонал, будто от боли, и тронул рукой плечо.

– Плохо тебе, – посочувствовал Азиз.

– Пройдет... Должно пройти... Через недельку поправлюсь...

Он лгал, чтобы оттянуть время, чтобы смилостивить Иуду.

– Ну, ну... – покачал головой Азиз.

Взяли его ночью. По существующей во всем мире традиции, надо было почему-то шарить в темноте фонариком, наткаться на спящих, перешагивать через них, соблюдать какую-то таинственность. Зачем? Бери кого хочешь в любое время, при тысяче свидетелей. Что они сделают, эти больные, обессиленные голодом, прижатые к смерти автоматами! И все-таки избрали ночь. Темь. Дождь. Точнее, мокрый снег. Он не долетал до земли, моросью падал, лишь иногда чудом уцелевшие снежинки, крупные, тяжелые, врывались в мокрель и прилипали где-нибудь на бугорке.

Взяли неспящего. Он ждал. А может, боль не давала за-

быться, мучила. Наверное, все же ждал, потому что поднялся на локоть, когда увидел шмыгающий между телами фонарик.

Знал, не убьют сразу. Во всяком случае, не здесь, среди людей. Где-то за лагерем: если пришли ночью, значит, им нужна тишина, надобен покров ночи для сотворения своего черного дела.

Он встал сам, едва фонарик брызнул ему в глаза сотней искр, которые рассыпались внутри, ослепили. Встал в темноте и так в темноте пошел за дежурным эсэсманном. Шел, придерживая правой рукой полу шинели, ступал осторожно, стараясь не задеть никого из спавших. Рука не болела. Он вдруг забыл, что в плече осколок и что рана кровоточит. Все забыл. Все исчезло. Стучала только кровь в виске и во рту пересохло. Хотел сглотнуть что-то мешающее дышать и не смог. Спазма сжала горло.

Имя его Саид узнал утром. Позже всех узнал. Барак поднялся, едва стало бледнеть в окнах. Без команды. Кто-то шумел за стенами, кто-то звал, требовал. На этот шум и вылезли пленные во двор. Встревоженные: для завтрака время неподходящее – случилось что-то! Выползли, ожидая прежде всего холода, и потому кутались долго, ругались, не между собой, ругались вообще, кляли жизнь, судьбу свою, немцев, называя их неопределенно: «они», «из-за них», «чтоб им».

Саид выбрался из барака уже после пистолетных выстрелов. Трижды они прозвучали. И сразу воцарилась за стеной

немота – ни звука. В безмолвии он и услышал:

– Советский агент, политрук Селим Аминов.

Прозвучало над мертвым. Лежал на песке, чуть скованный легким морозцем и припорошенный немощным снегом. Его трудно было узнать. Лишь по широкому бледному лбу и выющимся черным волосам Саид определил, что это политрук. И еще по серому окровавленному бинту на плече, разорванному, скомканному: конец его лентой вился по земле. Раздели перед расстрелом. До пояса. Для чего? Впрочем, понятно. Спина и грудь в кровоподтеках – били, пытали. Кровавая полоса прошла от плеча, от раны, до пояса. Горелое мясо. Приложили чем-то, кажется, кочергой. Сторожка для эсэсовской охраны обогревалась железной буржуйкой. При допросе воспользовались тем орудием, что было под рукой. Здесь, в Кумлагере, еще не оборудовали современных камер для пыток. А пытать необходимо. Положено. Чтобы избежать нареканий начальства, отвести от себя подозрение в лояльности по отношению к пленным. А тут еще – большевик. Узнали, что большевик, что политрук, имя узнали. Хотя это он мог объявить без принуждения. Ведь вышли же те двое на Холодной горе. Сами вышли. Под автоматы.

Больше он ничего не сказал. Иначе бы расстреляли всех, намеревавшихся бежать. Один пал. С собой унес судьбу товарищей. Спас.

Пленные стояли шагах в десяти от политрука. Рядом с ним был только унтерштурмфюрер, тот, что приехал вече-

ром с овчаркой. Смотрел на политрука, будто ждал, встанет он после выстрелов или нет. Сомневался вроде. Сапог его с высоким, поблескивающим черным лаком или хорошо начищенным гуталином голенищем придавил случайно ленту бинта, вдавил в песок. Пистолета в руках не было. Водворил в кобуру, а может, не он стрелял, а один из стоявших поодаль эсэсманнов. Близость унтерштурмфюрера к мертвому, в общем, никак не объяснялась. Лишь когда он повернулся и спросил: «Кто знайт этот политрук?», стало ясно, для чего немец изучал убитого.

Это была уловка, обычная, почти никогда не дававшая никакого результата. Никто, конечно, не ответил. Объявить себя – значит, подвергнуть допросам, побоям, получить пулю от разъяренного эсэсовца. Молчание, только молчание.

Другого и не ожидал унтерштурмфюрер. Постоял, посверлил глазами пленных. Пошел к воротам.

Что за человек – Селим Аминов?

Понять хотел Саид. Почему-то надо было понять. Встретились, разошлись на узкой тропе, нет, не разошлись, расстались навсегда. Не мог идти по ней Селим. Не способен был. Разорвал пути. Умер борясь. Разве не борьба – идея побега, разве не борьба – допрос? Даже расстрел – борьба. Покорясь, можно жить, если, конечно, не задушит голод, или дизентерия, или тиф. Они уже бродят по лагерям, косят пленных. Встанешь против немцев, как рябой, – это бой! Бой, правда, на поражение. Тут нужна тонкая, хитрая тактика, скрытая

схватка с эсэсовцами, до последнего, решающего момента никому не приметная. Побег – это уже финал. Нужна организация – один не прорвешь цепь охраны. Знал все Селим. Объединил товарищей, нащупал стежку надежную – лесок. Но на стежке оказался Азиз. Оборвалась.

Еще с одним человеком простился Саид. Издали. Им командовали: «По блокам!» Ушли. А Селим остался. Лежит обнаженный на песке. Позже его прикрыл снежок. К полудню полетел с хмурого неба. Посыпал с морозцем, засветлил землю. И Селима не стало видно. Бугорок белый.

...Почему он нашел Азиза? Почему не нашел его, Саида? Не сказал: «Бежим вместе».

Обидно. Даже страшно, что подумал политрук о нем. Не признал своего, не доверился. Значит, во мне есть что-то настораживающее честного человека. Внешность или поступки? Может быть, чистая графа: «Был ли ранен?» – «Нет!» Вернее, прочерк. Лейтенант – и целехонький сдался в плен. Если это, хорошо. Для души хорошо. Но почему же признался в заговоре? Хотя Селим раскрылся лишь после предупреждения Саида. Догадался, оберегает его лейтенант. И еще, видно, о чем-то догадался. Пусть. Пусть Селим знает, кто он, Саид. Умирая, поверил, что и я борюсь. Я не сдался. Так легче умирать – товарищи остались в строю. Отомстят за тебя.

А Азиза надо убить. Убить Иуду.

Сыпал снежок. Саид выглядывал из барака, мгновения, долгие мгновения всматривался сквозь белую, медленно бе-

гущую вниз сетку, в бугорок. Мучился. Шептал клятву: «Умри, Азиз!»

Его спрашивал дежурный:

– Боишься идти?

Он имел в виду уборную в конце двора. Саид кивал:

– Холодно...

– Теплее не будет. Бегом!

«Началось» все-таки после казни Селима. Мусульман выгнали на площадку перед баракком. На снег. На ветер. Как всегда, не знали, зачем это. Снова расстрел? Кого? Только почему согнали одних мусульман?

Стояли, повернувшись спинами к холоду, к метели.

Подбежал Азиз. Оттянул назад, к баракку. Шепнул:

– Они здесь... Не будь дураком. Наконец-то.

Волнение охватило сразу. Взбудоражило мозг, сердце. Он испытывал то же, что и в бою, перед тем как поднял руки. «Плен. Снова плен. Еще раз». И тяжело стало, до того тяжело, что качнулся. Слабость дурацкая.

Азиз убежал. Он полон энергии, стремится куда-то, торопится, будто без него ничего не решится, ничего не произойдет. Спина его мелькала среди сотен других спин, особенная, чуть согнутая, округлая. Саид проводил ее взглядом. Подумал: «Я снова нужен ему. Зачем? Видимо, надо быть благодарным за работу, за предупреждение, а у меня лишь злорадство какое-то: “Убью тебя, Азиз”, “Тебе уготовлена яма,

не перепрыгнешь через нее, как не скачешь, как не ловчишься»».

Появились «они». Впереди тот же унтерштурмфюрер. (Где его собака? Куда девал он свою черно-палевую овчарку?) Шел, выбрасывая вперед левую ногу, словно на параде. Должно быть, хотел этим подчеркнуть торжественность момента. Жалкое зрелище: маршировка перед оборванными, голодными пленными. Впрочем, Саид ошибался. Унтерштурмфюрер знал, что делал. Кой на кого парадность производила нужное впечатление.

За немцем беспорядочно семенили штатские, человек шесть. В темных пальто с меховыми воротниками, в шляпах. Из-под полей они робко и настороженно поглядывали на пленных. Не торопились приблизиться к ним. Удовольствие это предоставили унтерштурмфюреру.

От ворот внутренних до площади, на которой белел свежий холмик, они шли долго. Саид сосчитал, сколько шагов сделал передний в штатском. Сто, кажется. Сто маленьких шажков. Обогнул труп Селима – лишь вблизи разобрал, что лежит человек. Напугался, свернул поспешно. Боязливо поосторонились и остальные. Один унтерштурмфюрер прошел, почти касаясь сапогами окоченевшего тела.

Так этот первый в штатском был «он». Остальные не в счет, их можно было именовать просто сопровождающими. Декорация солидности, уверенности, благополучия. Слуги, надевшие кафтан барина. А он сам – барин.

Два месяца назад Саида Исламбака предупреждали: «Идите на сближение с ним. От него нити тянутся в эсэсовский центр, к нему поступают важнейшие указания по подготовке диверсионно-шпионских групп и вербовке солдат в гитлеровскую армию. Он пока – объект номер один». «Пока» – как пророчески прозвучало это слово. Хотя сейчас Саид не знал судьбу объекта № 1. Никто не знал.

Лицо. Фотография, которую изучал Исламбек на столе, залитом яркой электрической лампочкой, не совсем совпадала с оригиналом. Там был пожилой, но еще хорошо сохранившийся человек. Пленка, возможно, не схватила полутонов, не запечатлела сетку морщин, седину, едва пробивавшуюся среди общей черноты. Или не было такого обилия морщин, такой седины? Сейчас они заполнили лоб, виски, подглазья, шею. Стар. Стар стал. Осунулся. От парижской фотографии его отделяли десять лет. Закатных лет. Трудных, видимо, подтолкнувших к краю. Да и Легионово – это не Париж. Здесь не было особняка, маленького особняка, из которого он мог выглянуть по желанию, добраться до Елисейских Полей или площади Тертре, где пестрели бесчисленные кафе, или до улицы Муфетар с заманчивыми лавчонками. Отдохнуть. Повеселиться даже, если позволяли доходы от его пансиона для эмигрантов. В лучшие, мирные месяцы он разрешал себе ужин, один ужин в ресторане «Тур Аржан» с женой Марией. С высокой террасы они смотрели на Сену, плывущую под перилами, на мерцающие в лунном свете окна и

башни Нотр-Дама. Мечталось. А здесь только работа. Здесь война. Отголоски войны. Грязные бараки. Тиф. Трупы.

Гитлер назвал это работой для будущего. На старости лет ему нужно работать. Причем хорошо работать. Не для того фюрер вытащил его из оккупированного Парижа, чтобы слушать уже набившие оскомину речи об «Улуг Туране» – великом тюркском государстве от Каспия до Гималаев. Ему нужна была работа. Черная работа.

Может быть, поэтому так далек его облик от парижской фотографии. Поэтому так сдал. Но сходство есть. В общем облике. Глаза те же. Тот же взмах бровей. Та же упрямая складка у рта.

На нем хорошо сидит серая шляпа. С красивым изгибом полей. Не новое, но добротное пальто, сросшееся с хозяином. Перчатки. Вот он снимает их, небрежно, неторопливо, не думая о движении пальцев. Кладет в левую руку. Так останавливается перед пленными. Чуть позади унтерштурмфюрера. Вперед выйти не решается, все же немцы здесь господа, а не он, «президент» мусульманской «империи».

Все остановились. Чинно, по ранжиру: кто постарше – тот ближе к президенту, кто помоложе – тот дальше. Должность, видимо, тоже имеет значение. Один, с первыми, не бритыми ни разу усиками, тискается вперед, под руку к господину в серой шляпе. Он тоже в шляпе, но она ему совершенно не идет. Сухое птичье лицо, крошечное до удивления, прячется где-то под большим грибом. Видны лишь усики и острые

черные точки глаз. И еще огромный рот. Когда отхлопываются створки губ, рождается тонкий, почти пискливый звук. Это первое, что услышали пленные.

– Дорогие туркестанцы, – с высокой ноты начал обладатель птичьего лица.

Как восприняли это пленные? Кто насторожился, кто поднял изумленно брови, кто сжал зло зубы. Слишком неожиданно и слишком торжественно прозвучало это обращение. Главное произнес человек из другого мира. Возможно, он такой же пленный. Наверное, такой же, только напялил большую шляпу, белый воротничок, галстук. И не имеет вшей – вши уже заедали лагерь. Пленный без вшей. Вот чем отличался этот человек с птичьим лицом. Мысленно каждый определил: «Предатель». Не эмигрант, как именовали себя члены Туркестанского комитета и как мог называть себя глава комитета, стоявший на полшага от унтерштурмфюрера, а предатель.

Самым потрясающим в его речи было то, что на третьем слове рыгнул. Сытая отрыжка... Только что, видимо, нажрался. Маленький, нахватал лишнего и не сдержал себя. Отрыжка в то время, как они, тысячи человек, падали от голода, от истощения. Им сегодня еще не давали баланду. По случаю расстрела или приезда этих гостей решили оттянуть обед. Чужая отрыжка буквально помutilа сознание проголодавшихся.

– Баланду! – закричал кто-то.

Пленные загудели. Робко, но дружно. Гул прошел по толпе и не смолкал несколько минут.

– Тише, бараны, тише, – ветерком пролетел голос Азиза. Испуганный. Он боялся, что господа обидятся и уйдут. Уйдут, ничего не пообещав.

Напрасная тревога. Господа не собирались уходить. Крик о хлебе, кажется, входил в программу их встречи с пленными. Президент вдруг оживился. Обежал взглядом толпу, выискивая худые лица, гаснущие глаза, посиневшие от холода губы, рваные сапоги, обнаженные колени, – одежда тлела, расплзалась. Обзор удовлетворил его. Он кивнул обладателю птичьего лица. И тот торопливо объявил:

– С вами будет говорить глава Туркестанского комитета, наш защитник и друг эффенди Чокаев.

Он. Он! Мустафа Чокаев. Уже не сходство с фотографией, а официальное представление утвердило личность президента. Саид смотрел только на него, открывал для себя будущего «соратника» и покровителя. Ждал слов. Звуков ждал, будто от этого зависело решение его, Саида, судьбы или судьбы того же Чокаева. После всего пережитого им, после взлета на гребень событий в годы революции и гражданской войны в Туркестане, после недолгого «царствования» в Коканде, после бегства через Баку в Варшаву, а потом в Париж, после долгих лет эмиграции, полных отчаяния и разочарования, он снова видит тех, кого всю жизнь, в угоду собственной идее, именовал туркестанцами, видел сво-

их подданных – фюрер отдал их главе правительства Туркестанской империи на вечное владение. Встреча. Он ждал ее. Правда, не здесь, не в такой обстановке и не в присутствии щеголеватого унтерштурмфюрера. Он был не глуп, президент. Понимал: так не знакомятся с подданными. Со сторожевых вышек глядят автоматы, глядят на людей, к которым он явился в качестве главы «нового независимого» государства. Да и на него нацелены автоматы. И все-таки ему хотелось признания, хотелось верить в симпатию этих оборванных, голодных пленников. Трагическое заблуждение.

– Дети мои!

Боже мой! Дети. Кошунство или иезуитская лесть? Но сказано так, что слеза пробивается к горлу.

Посвистывает ветер, метель крутит над головой. До боли, до тошноты мучает голод. Стынут ноги, кровь стынет, а тут отеческое тепло: «Дети мои». Далеко, далеко дом. Родина. Там когда-то говорили им эти слова.

Трудно устоять. Трудно не откликнуться. Кто-то вытирает рукавом глаза.

– Вам трудно, дети мои... Мы пришли... мы приехали, чтобы облегчить ваши страдания.

Он сам смахивает слезу с век. Голос становится еще глуше, еще душевнее.

Саид теряется. На мгновенье. Он все знает, все понимает, видит нелепость этой церемонии сближения «правителей» и «народа», но слова подкупают. Подкупают многих. Люди за-

бывают о лагере, о колючей проволоке, о часовых. А если и помнят, то только о немцах, о тех, кто убил Селима, кто мучает, кто морит голодом. Этот же, в серой шляпе, жалеет, сочувствует. Пришел спасти. Главное, пришел. Похоже на явление пророка. С небес, что ли.

В следующую секунду Саид уже прокликает «пророка». Ханжа! Он сочувствует пленным, к которым его прислали немцы, а они, немцы, и умертвляют этих пленных. Фюрер шлет приказ о создании нечеловеческих условий в лагере и одновременно шлет спасителей. Дьявольская комбинация.

Ну, поплачем вместе. Ну, погорюем. Потом начнем спасать. План спасения небось тоже согласован с Кальтенбруннером или Гиммлером. План «спасения» является частицей плана уничтожения.

– При встрече с фюрером я просил его быть милосердным к заблудшим туркестанцам. Он обещал. А обещание фюрера – закон.

Что тут – хвастовство, возвышение себя: Чокаев беседует с Гитлером. Каково! Значит, немцы считаются с президентом, сидят рядом, разговаривают. Такому должны верить и пленные – «заблудшие туркестанцы».

Чертовски холодно. Знобит. Саид чувствует, как горячий поток вдруг хлынул к голове, ожег виски. Что это?

Неужели!

Только бы не заболеть. Не заболеть сейчас. Он напрягает волю. Сжимает пальцы до боли. Ногти впиваются в ладони.

Так он надеется унять озноб. Ему кажется, что, если победит дрожь в теле, недуг не одолеет. Не сломит.

Саид борется с врагом. Внутри. Борется и слушает.

– Вам будет лучше. Вас переведут в другой лагерь, станут кормить хорошей пищей. Оденут.

За что? За то, что мусульмане? За то, что говорим на другом языке? Во имя каких высоких идеалов фюрер идет на изменение установленных им же принципов?

Президент что-то не договаривает. Он сожалеет и обещает, роняет слезы и умильно смотрит куда-то вдаль. В будущее. А промежуток, промежуток, в котором скрыта причина предстоящих перемен, ускользает. Нет его.

...Стучат зубы. Звонко. Всего трясет. Не понять – тепло или холодно. Летит снег. Волнами. Они то стихают, и тогда мерзлая крупа сыплется отвесно, то усиливаются, и белая пыль начинает кружиться, колет лицо, слепит глаза. Только колет. Мороза он не ощущает.

За что же все-таки такие блага? Селим лежит под этим же снегом. Мертвый мусульманин Селим. А они стоят живые, и им даровано спасение. Аминов сам искал спасения, его убили за это. Им дарят.

Баракы уже в снегу. Как быстро занесло! И лагерь в снегу. Посветлел, принарядился. Не так страшен и противен, как прежде. Белыми лентами прикрылись изгороди, шапки надели вышки. Только голы и черны фигуры часовых. И автоматы черны.

Он не помнит, как оказался в бараке. Какие-то минуты выпали из сознания. От голода или слабости пошатнулся. Сам дошел до соломы, а возможно, довели товарищи. Его било в ознобе. Голова горела. Он просил пить. И кутался, кутался в шинель.

Принесли баланду.

Впервые не припал к краю котелка, не глотнул с жадностью горячую бурду.

– Воды...

Его заставили выпить баланду. Насильно почти. И кусочки брюквы толкнули в рот. Прожевал. Отправил в желудок.

Теперь стало жарко. Душно.

А снег летел по-прежнему. Через дыру в потолке проникал в барак и тихо, мирно снижался, как в театре на сцене. Был сказочным этот снег. Не таял. Насыпал горку посреди пола. Она росла, росла.

Потом Саид вдруг вспомнил. Спросил товарища:

– Они здесь? Они не уехали?

– Нет...

Другой добавил:

– У немцев, за лагерем.

Азиз подошел к нему, когда смеркалось.

– Вставай!

– Не могу.

На колени опустился Азиз, стал просить, как ребенка.

– Собери силы, встань, брат.

– Не могу.

Помолчал Азиз. Жалостливо посмотрел на больного. Поднял глаза на хоровод белых звездочек, летевших с потолка, на бугорок. Это было единственное светлое пятно в бараке. Все уже тонуло в предвечерних сумерках.

– Если сейчас не встанешь... никогда больше не встанешь, – изрек он философски. – Ночью они уедут...

Ради них он встанет. Должен встать. Снова охватил озноб, едва лишь откинул шинель, едва поднялся на локти.

– Я сказал о тебе... Ждут...

– А ты?

– Зачем спрашиваешь проводника о дороге?..

Рядом слышали. Молчали. Даже не смотрели в их сторону.

Встал. Поддержал Азиз. Помог подняться и подхватил под руку, когда пошли.

«И все-таки тебя надо убить, – подумал Саид. – Убить, как бешеного шакала... – Его качнуло. Голова пошла кругом. Если бы не Азиз, ноги не выдержали бы. – Только кто это сделает? – Саид задохнулся от невероятного усилия. – Кто? Я сам падаю».

За баракom их подхватила метель. Ударила, понесла. Он шел спотыкаясь, цепляясь носками сапог за сугробы. И снова его поддерживал Азиз. Бережно.

– Эффенди Исламбек!

Ему протянул руку президент. Помог сесть. Позже он слышал, что Мустафа Чокаев всегда был вежлив и предупредителен, подчеркивал свое воспитание.

Тепло. Тепло, как дома. На столике чай и крошечные булочки. Настоящие булочки. Главное, чай. Он уже забыл, как он выглядит, как пахнет. Мустафа протягивает ему стакан, не пиалу, стакан, но это неважно, черт возьми. Важно, что чай. И аромат чая. Не эрзац.

Тот, кто сидит рядом с президентом, мужчина средних лет, смуглый, с большими навывкат ферганскими глазами, прижимает руку к груди, показывая этим, что хозяин угощает от всего сердца. Сам Чокаев не догадался это сделать. Или европейский этикет не позволяет ему снижаться до восточных традиций.

Саид принял стакан. Ожег пальцы, но только улыбнулся – в руках был чай.

– Эффенди Исламбек, – повторил Мустафа. Впервые он услышал это слово, обращенное к нему: «Господин». И смешно и противно. Нелепо даже. Неужели они, сидящие здесь, не понимают, как это глупо. Расчет на самое низкое в человеке. По смущению, по глазам, что ли, Саида Мустафа догадался о его мыслях и поправился.

– Вам непривычно подобное обращение... но мы, турки, – он подчеркнул «мы», включая сюда и Саида, – высоко ценим человеческое достоинство... Вы скоро поймете это...

Мустафа сделал паузу. Задумался. Кажется, побрел куда-то далеко, к истокам, побывал там, вздохнул и вернулся неторопливо к Саиду.

– Я надеюсь на вашу верность великой идее, на ваше понимание целей, во имя которых идет борьба... Вы образованный человек... Вы мусульманин. Сын достойных людей Туркестана...

Саид кивал. Едва-едва.

– Вы добровольно сдались в плен? – спросил как бы между прочим человек с глазами навывкат.

– Да.

Этого было недостаточно. Требовались подробности. Помог Азиз.

– Первый сдался... Сам поднял руки... Я видел...

Ухватил борт шинели, откинул, показал зачем-то грудь Саида.

– Не ранен...

И поклонился, словно представлял публике известного артиста. Или продавал товар.

– Совсем не ранен...

Человек с глазами навывкат уточнил:

– В немцев стреляли? Сколько убили немцев?

Это, видимо, имело значение. Хотя сам по себе вопрос

был явно демагогическим: кто в такой ситуации скажет, что убивал. Если идет на службу к немцам, то не станет их озлоблять.

Ответил опять-таки Азиз. Он выполнял роль и адвоката, и посредника, и торговца.

– Он первый раз пошел в бой. Не стрелял еще.

Саид опять склонил голову.

А человек с глазами навывкат многозначительно посмотрел на унтерштурмфюрера: дескать, вот какие люди туркестанцы, как они любят немцев! Офицер не отреагировал на проявление верности и симпатии. Хмуро уставился в лицо Саида – он сегодня только расстрелял одного такого друга Германии. Лежит во дворе лагеря и будет лежать для устрашения.

Унтерштурмфюрер сидел на табурете и гладил овчарку, морда ее покоилась на его коленях. Великолепная зверюга с умными, внимательными глазами. Они были полны любопытства, бродили от одного говорившего к другому. Собака, кажется, что-то понимала.

Жара мучила. В теплой комнате Саид задыхался. Он с тревогой думал о сердце. Если не выдержит, если сдаст вот тут, перед Мустафой. Или потеряет сознание. Чувствовал, как застилает свет какая-то тень, как расплываются лица. И только овчарка все время была четко видна и взгляды их встречались.

– Вы нездоровы? – спросил неожиданно Чокаев.

– Простудился, – пояснил Азиз. Он стоял сзади, за левым плечом, и поддерживал локтем Саида. Незримо поддерживал.

– Крепитесь... Такое время... – сочувственно произнес президент. – Аллах биз билан.

«С нами бог». – Чокаев говорил о боге. Верил или делал это для проформы, чтобы показать близость свою к идеям Магомета, к идеям ислама.

Из глубины комнаты выплывала белая чалма с черным пятнышком эмали на ткани. Черноту рассекал маленький серебряный полумесяц. Из-под чалмы темнели лохматые брови и искрились недобрые глаза. Больше ничего не увидел Саид.

Мулла! На польской земле, в немецком лагере – мулла. Это походило на галлюцинацию. Можно было бы рассмеяться, если бы не жар, не грань забвения. Он всему верил или старался верить, дабы не выдать своего состояния.

– Бисмилляги рахмани рахим... – пропел мулла.

Он вышел к Саиду. Страшный, не обликом страшный, а самим фактом существования. Мулла рядом с теми, кто напал на его родину, кто жег, убивал. Мулла одел немецкую форму. Все, кроме чалмы, было немецким – и китель, и ремень, и шаровары. Солдат вермахта. Лишь на рукаве нашивка, и на ней купол мечети и изречение из корана: «Аллах биз билан». Не арабскими буквами. Латинскими. Чтобы и немцы могли прочесть знакомую для них по смыслу фразу. Немцы

цы выводили на своих кинжалах: «Гот мит унс» – «С нами Бог». И здесь – «С нами Бог». На знаменах басмачей, когда они влетали в кишлаки и бросали в костры людей, были вышиты эти же слова.

Ладони обежали лицо муллы от глаз до бороды – у него была небольшая черная борода, – веки прикрылись на мгновение, губы прошептали:

– Бисмилло...

И когда веки приоткрылись вновь, недобрые искорки метнулись в сторону Саида. Ничего возвышенного, ничего божественного – только злоба. Мулла шагнул мимо человека с глазами навывкат, и тот, кажется, а может, кто другой, сунул ему в руки черную книжку. Коран.

Не знал Саид, что ожидало его. Книга вороним крылом метнулась к его лицу, к губам. Он должен был целовать эту проклятую им еще с детства книгу. Эту лживую, грязную от чужих прикосновений книгу. Брезгливость охватила его, бешеная ненависть, стыд. Все внутри было готово к протесту, к тому, чтобы отшвырнуть черное крыло, пнуть его ногой.

Его подтолкнул Азиз. Книга сама коснулась рта, сухого от жара, и сама отпорхнула.

– Бисмилло.

На снегу он снова почувствовал уколы морозных крупиннок, услышал пение метели. Заунывное, погребальное. Отпевали Селима. Ветер и снег отпевали.

Он снова спотыкался, проваливался сапогами в сугробы. Вытаскивал ноги с трудом, будто они налились свинцом. Но шел. Упрямо шел, знал: упасть нельзя...

Ему снились сны, бесконечные сны. А может, это были и не сны. Иногда он слышал голос Азиза. Совершенно четко слышал какие-то слова. Они не запоминались, но в то мгновение звучали ясно. Он видел тогда лицо Азиза над собой. Круглое лицо с усиками, глаза удивленные, встревоженные. Губы произносили громко: «Брат!» В ушах звенело от грома.

Все-таки это был сон. Сон без начала и конца. Азиз исчезал, снова возвращался, наклонялся и смотрел долго и удивленно.

Почему удивленно? Потому, что он не умирал. Наверное, потому.

Утром, когда обходили бараки, Азиз трогал его, прислушивался к дыханию, объявлял:

– Жив.

Это тоже удивляло. Не только Азиза. На холм вывозили по утрам двадцать-тридцать человек. Бараки редели, тиф и голод косили пленных. А он жил. Видел сны. Бредил. Метался в жару, затихал. Но жил.

Дважды за это время падал снег. Ночью метелило. Свиistel ветер в щелях, буйствовал. А днем стояла безмятежная тишина. Голубел краешек неба, проглядывало солнце. Бледное зимнее солнце, невысокое, короткое. Оно уходило, не успев обогреть людей.

Селим все еще лежал под снегом. То ли не было команды его убрать, то ли мешала непогода. Холмик рос, терял очертания человеческого тела, стал походить на заснеженный бугорок. Но люди знали – это могила. Могила товарища, которая скоро обнажится, откроет его перед всеми. И с ужасом ждали теплого дня. Тропки не подбегали к бугру, кружили вдали пугливо, словно боялись нарушить чистоту и покой могилы. Однажды торопливый след проскочил к подножию, но тут же осекся – повернул назад. Остались вмятины, свидетели чьей-то забывчивости или чьего-то раскаяния.

Такой застал могилу и Саид, когда сознание вернулось к нему. Нет, не увидел, а узнал. Ему сказали товарищи. Это все, что они могли рассказать после долгой разлуки: ведь он уходил от них. Почти навсегда. Чудо сберегло его. Тиф в насмешку будто оставил в бараке несколько своих жертв, забыл вроде. Слишком обильна оказалась жатва, не уследишь за всеми.

Очнулся Саид и сразу понял – произошло что-то непоправимое.

– Я бредил? – спросил он первого, кто подошел к нему.

– Бредил, – ответил тот.

– Говорил?

– Много.

– Кто был рядом со мной?

– Разные были люди... Азиз был...

Он, кажется, побледнел еще больше. Губы стали пепель-

но-серыми. Снова пошли круги перед глазами, но теперь уже от слабости. Забыть на минуты, а может, на часы или дни.

– Брат.

Это – Азиз. Голос неповторимый. Только он может так произносить слова – без чувства. И надо отзываться на них. Не только надо, хочется отозваться, чтобы услышать еще слова от Азиза. Много слов. Все услышать.

– Азиз.

– Узнал, брат...

Саид открыл глаза – не настезь, чуть-чуть. Прежде надо было увидеть Азиза, угадать, каков он. Чем дышит. За эти месяцы, что они вместе, выработалось умение читать мысли круглолицего по улыбке, по взгляду, по особой манере поднимать левую бровь – она выдавала растерянность.

– Здравствуй...

Именно здравствуй, так пришлось начать эту встречу после долгой разлуки. Азизу бы ответить тем же, но он вдруг вскинул глаза к нему и прошептал:

– Бисмилло...

Он играл. Играл свою новую роль. Откровенно. Значит, что-то все-таки произошло. Иначе зачем такая набожность? Зачем это свидетельство близости к тем, кто приезжал в лагерь вместе с Чокаевым?

Улыбка, знакомая улыбка, и поднятая левая бровь! Смущен Азиз, а может, и растерян.

– Они уехали? – спросил Саид.

Нелепый вопрос. Неужели «они» могли находиться в лагере все это время? Уехали в ту же ночь. И это знает каждый, но Саид «отсутствовал», он может не знать. Поэтому Азиз объяснил:

– Да, брат.

И отвернулся. Не захотел встретиться взглядом с Саидом.

– А ты не уехал?

– Никто не уехал.

– Почему?

Снова вскинул глаза к небу Азиз, к той самой дыре в крыше, через которую сыпал снежок в день расстрела Селима, а сейчас струился голубой свет неба. Полуденного зимнего неба.

– Тебе это лучше известно.

Вернул глаза к лицу Саида, усмехнулся. Шакалья усмешка, если только шакалы способны на такое.

– Ты всегда спрашивал меня, – продолжал Азиз, – куда дели того, куда другого... О слепом спрашивал.

– О Селиме не спрашивал, – заметил как бы для уточнения Саид.

Скривил губы Азиз. Кажется, он весь скривился – и лицо, и голова, и плечи. Выругался:

– Собака...

Неизвестно, к кому это относилось. Наверное, к Саиду. Хотя нет. Вот он уже снова улыбнулся, снова поднял глаза вверх. Его прервали вопросом, но не сбили с мысли.

– Ты о многом спрашивал меня, Саиджан, теперь пришла моя очередь задавать вопросы.

– Не считаешь ли ты, что я побывал за это время в раю и получил совет от самого пророка, – пошутил лейтенант.

Азиз оживился. Без наигранности, без фальши! Огорчение, которое только что пробежало тенью по его лицу, исчезло. Он весь загорелся любопытством.

– Да, да... Ты беседовал с пророком.

Если бы лейтенант не знал Азиза, то наверняка счел бы его помешанным: за такой долгий срок могла стрястись беда с головой Рахманова. Не выдержала. Но Саид знал. Слишком хорошо знал своего не по собственной воле обретенного друга и потому только насторожился, ожидая козыря, который должен был выпасть в этой игре Азизу. Ожидать пришлось всего несколько секунд.

– Пророк поведал тебе много интересного, – приглушая голос, сказал круглолицый. Он был, как и прежде, круглолицым. Все осунулись, вытянулись, обнажили кости, он сберег себя, даже румянец не поблек. Многие пали в лагере, а Азиз стоял крепко на ногах. «Я такой человек, – шутил он, – что во вред кому, то мне на пользу. От баланды у меня улучшается пищеварение».

Не баландой держался Рахманов. С кухни ему перепали отходы – картофель, свекла. Как благонадежный он ходил по поручениям в деревню – с немцами и один. Шарил в сараях и погребях. Эсэсовцы смотрели на эти «забавы» сквозь паль-

цы. Пленные поговаривали, что Азиз за такое доверие платит дань конвоирам и начальнику караула. Правда, комендант лагеря намекнул как-то предприимчивому снабженцу, что, если он попадетсЯ, взыскано будет со всех русских. Пленные объявили бойкот круглолицему: они не хотели принимать вину на себя, расплачиваться за его проступки, позориться перед крестьянами. Но Азиз успокоил их: «Крестьяне сами дают. Человек человеку помогает в беде. Да и как можно не помочь, когда в воротах стоит эсэсманн. На их месте я бы отдал не только лишний, но и последний кусок хлеба». Он еще острил, этот круглолицый.

– Счастливые люди, которые удостоиваются внимания пророка, – Азиз даже вздохнул завистливо. – Как тебе удалось заслужить такое внимание?

Удочка брошена, теперь начнет тянуть неторопливо, осторожно. «Клюнул я не сейчас, – подумал Саид. – Клюнул в бреду. Но что именно он услышал, почему заинтересовался? Как узнать? Просто его не раскроешь. А надо раскрыть, иначе каждый последующий шаг окажется роковым. Главное, заставить Азиза обронить хотя бы самую ничтожную крупинку, тонюсенькую ниточку. Уцепиться за нее».

– Бог милостив, – в тон ответил Саид. Началась переброска мяча – из рук в руки.

– Милостив, но и прозорлив, – вернул мяч Саиду Азиз. – Он видит достойного.

– Мы ли не достойны в своих страданиях.

Круглолицый принял мяч и тотчас отбросил.

– Достойны, но не все. Есть достойные из достойных.

Все то же, все на том же самом месте. Ни один не хотел ступить в сторону, на тропу, которая повела бы к цели.

«Значит, он мало знает. Во всяком случае, испытывает меня. По его мнению, тревога, вызванная одним лишь намеком на существование тайны, вызовет растерянность. Начну перебирать сокровенное и проболтаюсь. Пока лучше прекратить поединок. Пусть Азиз начнет снова, сделает другой заход, более удобный для меня».

Саид закрыл глаза, устало вздохнул. Пошевелил губами:

– Круги... круги какие-то...

Азиз посмотрел пытливо на друга. Не встал сразу, выжидал: может, вернутся силы, заговорит снова. Нет, будто засыпает или впадает в забытие.

Мерно, притаенно, как ослабевший в недуге человек, дышал Саид. Синеватые веки лежали тяжело, мертво. Такой не бредит. Перегорел, остыл, ни теплинки внутри.

Ждать нечего. Встал Азиз и ушел.

Он не смог совсем уйти. Он вернулся с баландой и хлебом. Стал кормить Саида. Сколько раз повторялась подобная церемония в течение нескольких месяцев плена. И Саид знал, и Азиз знал – это кормежка смертника. Так было со всеми, кого избирал жертвой круглолицый. Двоих, а может, и десятерых, он «откормил». Последним был Селим. Трижды

брался за лейтенанта. И трижды переносил срок расплаты. Откладывал.

Саид принимал из рук Азиза пайки хлеба, запеченную свеклу, горячую и сладкую. Вареные картофелины, кофе, пахнувшее жженой брюквой. Принимал и глядел ему в глаза – скоро ли расплата. Ответа не было. Была добрая братская улыбка. Сейчас он кормил за тайну, покупал ее. И, видимо, дорого стоила эта тайна. Азиз старался изо всех сил.

Саид молчал. Вернее, говорил. Говорили оба. О многом и часто, но обходили главное. Саид бродил в потемках. Осторожно бродил, боясь оступиться.

Наедине с собой он был откровенен, перебирал все, что могло попасть в руки Рахманова. Многие составляло ценность для Азиза. Но что именно?

Первым не выдержал круглолицый. Уже когда Саид стал подниматься, сидел, облокотясь на дощатую стену, Азиз уронил крупинку:

– Ты друг... а может, брат Чокаева?

Неожиданная крупинка. Необъяснимая. Сердце заныло.

– Теперь мы братья...

– Нет. Не теперь... Раньше...

– Может быть, и раньше... Ты тоже побратался с Чокаевым еще дома... Потому и поднял руки...

– Врешь! Ты первый...

– Возможно, я... на секунду раньше...

– Э-э... Я ничего не знал о нем, – решительно отмахнулся

круглолицый... – А ты... Ты...

– Что я?..

Азиз замер, остановились слова. В пути. Сам остановил их. Решал что-то. Потом выпалил – была не была.

– Нажант, Сюр ла Мер, 7.

Ах, вот оно что. Азиз знает адрес Мустафы. От него. Саида, узнал. Проговорился, значит. Что же еще знает?

– В каком кишлаке эта улица? – с грубой издевкой спросил Саид.

– В Париже...

– А ты не ошибся?

– Ха! За кого ты меня считаешь... – Без тени смущения, нисколько не таясь, Азиз забрался под шинель, повозился там и извлек огрызок бумаги. Газетной. На этом огрызке было выведено что-то чернильным карандашом. – Сюр ла Мер, семь, – прочел круглолицый и улыбнулся от удовольствия. Добавил по-тюркски: – Ет-тинчи. Ну как, брат?..

– Хорошо.

Саид тоже улыбнулся. И тоже с удовольствием.

– Только напрасно трудился. По этому адресу мы к нему не попадем.

Вскинул левую бровь Азиз. Наклонил голову – он был несколько озадачен таким оборотом дела.

– Э-э, брат, не морочь голову. Она и так у меня лопается от забот...

– Не увеличивай их. Мустафа живет сейчас в Берлине...

Я опоздал в гости к своему дядюшке ровно на полтора года...

– А ты шел в Париж?..

– Теперь это уже не имеет значения...

– Нет, нет... А все остальное?

– Что...

– Э-э. Ты хитрый... Ты очень хитрый, брат...

«Что же все-таки я сказал ему? Какая тайна запечатлена на этом лоскутке бумаги? Немного написано. Если все о Чокаеве, то опасность не так уже велика, хотя осведомленность пленного о главе Туркестанского комитета сама по себе подозрительна. Дьявол этот Азиз, он чует тайну. Надо отвести его от нее».

Саид прибег к старой уловке: опустил веки, вздохнул тяжело. Затих. Но провести круглолицего было не так-то легко.

– Ты хочешь, чтобы я ушел... Нет, я не уйду...

Он посидел около лейтенанта. Молча. Голова, которую он оберегал от забот, опять трудилась, и Азиз стал тереть легонько виски. Вдруг поднялся:

– Я уйду... Уйду! Но ты сам будешь искать Азиза... Будешь искать...

Пришлось искать. Он вышел из барака, как только окреп. Как только ноги смогли нести его тело, не подгибаясь. Ветер хозяйничал, и в бараке к нему привыкли, но за дверью он все же захватил Саида. Качнулся, ухватился рукой за косяк. Снова поплыли перед глазами зеленые круги. Тошнота под-

катилась к горлу. Но устоял. Не упал на мокрый снег.

Снег таял. Второй день.

Холмик посреди двора уменьшался. Снова стал похож на саван. Снова угадывалась рука Селима, простертая на земле. Белая, одетая в холодную вату.

Люди не то грелись на солнышке, не то смотрели на холм. Ждали будто. А когда вдруг осела белая пелена и глянуло плечо Селима, все ушли в бараки. Ушел и Саид.

Лег. Уткнулся лицом в мятую, пахнущую прелью солому. Задохнулся в ней. Задохнулся – тоской и болью.

И вот тут он решил:

«Ничто не берет Иуду – ни голод, ни тиф, ни случайная пуля немца, что стоит с автоматом на вышке и иногда для порядка щелкает по забору – отгоняет пленных от запретной зоны. Ничего. И он все-таки умрет. Расплатится за все. За Селима».

Именно за Селима. Теперь понял Саид, почему расстрелянный лежит на дворе. Напоминает людям о мщении. Небо взывает к мести.

И за себя. Нет, за тайну, что в нем, в Саиде. За нее. Во имя ее.

Он сам вынес приговор Азизу. Прошептал его. А может, лишь мыслью повторил.

Людей гнали хоронить мертвых. На высотину, в лесок, что за лагерем. Рыть могилы. Саид встал. Пошел. Его задержал

старший по блоку:

– Слаб. Не сможешь.

– Смогу.

– Зачем тебе это?

– Я хочу есть. Могильщиков кормят в первую очередь.

Он шел за Азизом. Круглолицый водил наряд к могилам: ему доверили немцы. Комендант доверил. Всего лишь два конвоира сопровождали могильщиков. Тридцать человек и два эсэсманна. Азиз не в счет. Он ответственный. И за живых, и за мертвых.

Лопат было десять. Их несли впереди. На троих одна. Она должна работать без перерыва, люди могут меняться. Не потому, что им положен отдых. Просто у них нет сил.

Когда завизжали ворота, распахиваясь, он улыбнулся, когда взвизгнули сзади, вздрогнул. Воля, мнимая, но воля. Конвоиры – только символ. Вокруг земля раздольная. Насколько хватает глаз – холмы и лес, лес и холмы. Там нет колючей проволоки, нет автоматов – там свобода.

Шагали медленно. Волочили ноги. Далеко впереди – Азиз. Он указывал путь. Знал здесь каждый кустик, каждый холмик. А их набралось немало, этих холмиков. В мороз мертвых бросили в одну яму. Ее не зарывали. Сегодня надо было сбросить оттаявшую землю, иначе трупы начнут разлагаться. Появится еще один большой холм. А рядом – новая могила. Рыть ее будет Азиз. Для Селима. Он еще лежит во дворе.

Первый десяток приступил к работе.

Саид тоже взял лопату, но не смог бросить землю. Увидел внизу – да что там внизу! – у самого края ямы трупы. Занесенные снегом. И не занесенные – снег не шел последние дни. Голые! Кто-то раздевал мертвых. Может быть, перед погребением. Или уже в яме сдирали гимнастерки и шаровары.

Саид передал лопату товарищу.

– Я во вторую очередь.

И опять не мог бросить землю, мучительно делалось – мертвые, кажется, пытаются выползти, просят помощи, а на них летят комья полумерзлой земли. Тяжелые комья.

– Я буду рыть.

Это труднее. Ему охотно предоставляют такую возможность.

Азиз ведет пленных за кустарник, к сосне. Высокая, голая, чуть склоненная на восток: ветры гнут ее и весной, и зимой, и летом. Согнули. Звенит хвоя в вышине. Странно звенит, будто зовет куда-то.

– Нашел все-таки, – кривит губы в усмешке Азиз. Они двое стоят в сторонке, у сосны. Вроде выбирают место.

– Мне нужно поговорить с тобой, – устало дышит Саид. Трудно взбираться на высотину. Трудно идти по сухому рыхлому песку, когда сапоги увязают и их надо вытягивать. Все время вытягивать.

– Нашел, – Азиз торжествует и не может этого скрыть. Лы-

бится. На его круглой роже играет улыбка.

– Поговорим один на один...

– Бери лопату, идем.

Опять приходится возвращаться к могиле, выпрашивать заступ, это не так уж трудно сделать, каждый рад избавиться от тяжелой работы. С лопатой на плече он поднимается к Азизу.

Человек восемь сидят. Прямо на земле. Круглолицый оглядывает всех:

– Отдыхайте пока. Мы поищем чистый песок.

Чистый песок – значит, легко войдет лопата. Меньше сил отдадут могиле люди. Все кивают: хорошо.

Азиз, как всегда, впереди. Саид сзади. Руки сжимают черенок. Теплый от солнца черенок. Даже горячий. Ладонь потеет. Не от тепла. Нет. От волнения. Да и черенок не так уж горяч. Почудилось. В голове чуть кружится. Это тоже от волнения. Внутри озноб.

Все-таки свершится. Он готов. Только бы хватило сил, не ослабли бы руки, не выронили бы лопату. Единственное оружие.

Азиз переваливает через гребень, спускается вниз, за предел чужого взгляда. Шагов через десять останавливается.

«Уже сейчас! Какие-нибудь несколько минут – и все!» – думает со страхом Саид. Со страхом, потому что убивать трудно. Мерзкое чувство жалости полонит душу, жалости к Азизу. Надо подавить жалость, видеть только врага и преда-

теля. Вообще лучше не смотреть – понимать и действовать. «Именем Союза Советских Социалистических... – повторяет про себя Саид. – Именем народа...»

– Здесь? – Азиз поворачивает голову, смотрит как-то странно на лейтенанта.

– Дальше... Дальше... – требует Саид.

Снова круглолицый опускается по склону. Осторожно ставит сапоги. Нога вдруг соскальзывает, и он едва не падает. Руки беспорядочно мечутся над головой.

Время!

Мысленно Саид уже поднял заступ, размахнулся что есть силы.

Время!

Не шелохнулся, по-прежнему тяжелеет плечо. Не оторвешь.

А, черт!

Тишина. Пустынная даль. Все как на ладони. До того кустарника еще можно добежать, ноги донесут. А дальше. Дальше Саид рухнет на землю. Поползет. Успеет ли уползти? Немцы сразу заметят беглеца. Одна очередь из автомата. Всего одна. И конец.

– Говори!

Азиз опять стоит. Опять смотрит как-то странно на лейтенанта. Левая бровь медленно тянется вверх. Тянется, вздрагивая.

Заступ на плече – никаких подозрений. Но он о чем-то

догадывается. Впивается глазами в черенок, следит за пальцами Саида: они побелели от напряжения.

– Ну, говори.

О чем говорить? Саид не приготовил ни одного слова. Да он и не сможет произнести. Не получатся слова. Зубы разжать нельзя – застучат.

Кивком головы показал на песок: сядем!

– Нет, ты говори.

Трусливый шакал. Почуял опасность, глаза забежали в страхе.

«Так его не возьмешь, – лихорадочно решает Саид, – не дотянешься». Снимает черенок с плеча. Опускает лопату на землю. Вгоняет железо в песок. Сапогами жмет. Теперь, когда появилась отсрочка, волнение спадает. Губы слушаются!

– Здесь похороним Селима...

– Что ты хотел сказать мне? – бледнеет Азиз. Он жует кончик уса. Жует с остервенением.

– Здесь ему будет хорошо.

Азиз почти кричит:

– Что ты хотел сказать?!

«Шакал! Сейчас узнаешь, что я хотел сказать. Как легко сразу стало. Пришла злоба. Ненависть. Именно таким: испуганным, трусливо ничтожным должен умереть предатель. Ничего человеческого в глазах. Шакал!»

Повернулся, хочет уйти Азиз – понял, кажется, все.

«Именем народа...»

Кто дал право? – вспыхивает мысль. Право – совесть моя. Право – война. Чей приговор? Родины.

Она спросит. Ответа с меня спросит. Но еще спросит о другом. Зачем я здесь? Куда шел? И дошел ли?

Мне помешал Азиз.

Нет, не то.

Его надо убрать с дороги.

А сам ты пойдешь дальше? Сумеешь пойти?

Нет! Через час, а может, и раньше, тебя поймают эсэсовцы и расстреляют. Не дашься? Прикончат пулей, пущенной вслед. Собаками затравят.

Не страшно.

Но дальше ты все-таки не пойдешь. Тебя просто не будет. Ничего не будет. Ждать твоих шагов незачем. «Двадцать шестой» выбывает из строя. Вычеркивается. Бой продолжается, но без него. «Пропал без вести...»

Операция «Феникс» прекращается.

Азиз уходит. Поднимается на гребень, с трудом поднимается и мгновенно задерживается там. Бросает вниз Саиду:  
– Хоронить будешь сам...

Смотрит удивленно на лейтенанта. Удивленно, но уже без страха. Перешагивает через сломленный ветром кустик. Исчезает.

Остается песок. Небо. Белесое небо и несколько сизо-белых облаков.

Он должен был хоронить Селима завтра утром, а сегодня все решилось. Неожиданно.

Саид лежал на соломе, прикрытый шинелью. Усталый, опустошенный. Несколько часов назад он пережил все. И ничего не совершил. Только отдал силы.

Банка с баландой стояла рядом. Остыла давно. Пусть. Есть не хотелось. Ничего не хотелось. Тоска. Отчаяние.

Кто-то вошел в барак. Саид даже не оглянулся. Наплевать. Но стало тихо почему-то. Необычно тихо. Пленные примолкали лишь при появлении немцев.

В чем дело? Он повернул голову к двери. Всего десяток шагов отделял его от входного проема. Там стоял сам комендант лагеря оберштурмфюрер Штром. Коренастый, подтянутый, с бледным синеватым лицом и узкими, полузакрытыми водянистыми веками, глазами.

Мелькнула мысль: «За мной!»

Саид поднялся. На немеющих от слабости локтях приподнялся и застыл.

«Я оставил Азиза живым. Он меня убивает. Легко. Без усилий каких-либо. Руками Штрома».

– Тем, фамилии которых будут оглашены, – встать и выйти во двор, – громко и холодно объявил переводчик. Встать и выйти в одежде.

«Фамилии которых... – повторил про себя Саид. – Что это значит?»

Штром начал читать. Еще громче, чем переводчик. – Каж-

дое слово отдавалось в большом высоком бараке.

– Ниязмет Каримов.

– Балтабай Джергенов.

– Усен Караташ.

– Азиз Рахман...

Вот оно что! Сердце забилося часто. Наконец-то. Он забыл о списке. О позоре, который связывает с этим листком бумаги. Листком бумаги в руках Штрома. Комендант оглашал имена изменников. Называл тех, кого потом проклянут народ, Родина. Кого уже прокляли лежащие рядом товарищи. Молча проклинали. И запоминали имена.

Он ждал своего имени. Натягивал шинель, торопился. Никак не мог попасть в рукав.

На него смотрели пленные и хмурились. Недобро горели глаза их.

Не прозвучало его имя. Застыл Саид: не ослышался ли. Уже не радостно, а тревогой зачастило сердце.

– Повторите!

Переводчик повернулся к Штрому.

– Видерхолен зи битте нох айнмаль.

Комендант так же громко еще раз перечислил фамилии. Каждую подчеркнул нажимом на согласные и долгой паузой.

Уже пошли вызванные. К двери пошли. Первый – Азиз. Спокойно, с важностью даже. Остальные почти бежали, не оглядываясь. Боялись встретиться глазами с товарищами, какой будет эта последняя встреча. Не дружеская.

Как медленно читает Штром! Как тянет слова переводчик.

Где-то внутри у Саида рождается холодок отчаяния. Растет. Захлестывает. Еще немного, и его парализует мысль: «Усилия напрасны. Кончено». И тут неожиданно сработало внимание. Назвали шесть фамилий. Вышли пятеро. Шестого нет.

Он оглядывает барак. Никто не поднимается. Напряженная, придавленная тишина. Ожидание. Шестого все-таки нет. И вдруг Саида пронизывает мысль, шестой он. Ведь его фамилия Исламбек. А ждал другую, настоящую. Едва не выдал себя.

Комендант спрятал список. Застегивает шинель. Сейчас пальцы вгонят пуговицу в петлю. И Штром выйдет. Формальности в бараке окончены, он может считать себя свободным. Пять пленных переступили порог. Задержался шестой. Возится? Ну да. Никак не может надеть шинель. А еще солдат. Кажется, даже офицер.

– Шнель!

Саид уже бежит по проходу. Топают сапогами.

– Ай... яй... яй!

Штром качает головой. Он не любит, когда нарушают дисциплину.

# Часть II. Призраки Ноенбургерштрассе

## 1

Среди многочисленных событий берлинского дня оказалось и это, выраженное очень лаконичным сообщением. Те, кому положено было узнать о нем, удивленно поднимали брови или хмурились. Некоторые торопливо поднимали трубку. Звонили. Требовали уточнений. Кое-кто стучал по столу. Возмущался. Находились и скептики. Они улыбались. Хотя в те дни в Берлине улыбка, тем более скептическая, не была в моде. Восторженные овации, радость, неистовство. Но ирония, извините! Она обращала на себя внимание. Настораживала.

Отношение к известию было самое различное. Но никто не осмелился «прикоснуться» к нему. Исправить. Нарушить истину. Тем более изменить оттенок, от которого зависело многое, если не все. Пожалуй, все. Это сделал барон фон Менке.

Когда на стол ему положили донесение Главного управления СС, он протянул руку к карандашу и зачеркнул слово. Одно лишь слово: «убит». Написал сверху: «скончался».

Ничтожная поправка. Но она избавила барона от звонков сверху, от объяснений, причем не всегда убедительных. Главное, пресекала толки, очень неприятные в такой момент и, безусловно, уже возникшие: в его ведомстве не все благополучно. Далеко не все, если насильственно убирают лицо, благосклонно принятое рейхсканцлером как кандидатура для выполнения исторической роли. В сфере немецкой политики, разумеется. Убивают. Где? В Берлине. Пусть умрет сам, мало ли всяких случайностей, болезней. К тому же намек на покушение рушит здание единства, о котором так убежденно, так красноречиво говорил министр пропаганды. Да и канитель с расследованием – намеки, подозрения. Тень на друзей, собранных и действующих в особняке на Ноенбургерштрассе. Нет, нет. Только естественная смерть. И барон еще раз зачеркнул слово «убит». Затер его.

Можно было пустить донесение по инстанции. Или лично доложить шефу. Но тут на Менке нашло сомнение. Две совершенно различные редакции не имеют права на существование. СС не подчинен барону. Из управления другой путь к центру. И, пожалуй, более короткий. Гиммлер узнает об убийстве раньше, чем Менке успеет подготовить шефа.

Как и многие другие, получившие сообщения сегодня, барон снял трубку и попросил соединить его с гауптманном Ольшером.

– Господин капитан...

– Я слушаю.

Этот молодой эсэсовец, преуспевающий по службе, добравшийся в свои тридцать пять лет до начальника отдела главного управления, не вызывал симпатий у барона. Прежде всего потому, что выскочка. Кажется, в прошлом какой-то дантист или того меньше, малообразованное существо, но удивительно настойчивое и энергичное, прямолинейно решающее задачи, которые ему предлагают сверху. Впрочем, зубодер не без собственной мысли. Он что-то думает. Торопливость, с которой он бросил донесение по всем каналам, свидетельствует не только о дисциплинированности руководителя «Тюркостштелле», но и его личных планах.

– Господин капитан, мне бы хотелось уточнить один момент.

– К вашим услугам, барон.

– Не находите ли вы редакцию донесения слишком категоричной, определенной?

– Вы имеете в виду убийство главы эмигрантского правительства Туркестана Мустафы Чокаева?

– Смерть его, – поправил Менке.

– Смерть в результате умышленного отравления.

– Это ваше мнение, капитан?

– Нет. Заключение врачей и показания свидетелей...

– И все-таки, это ваш вывод?

В трубке прозвучала нотка раздражения. Гауптштурмфюрер ответил сухо и холодно:

– Так донесло гестапо.

Гестапо! Дело хуже. Значит, есть еще один канал. Политическая полиция сообщит помимо Ольшера Гиммлеру.

Молчание капитан расценил как поражение барона, о чем втайне мечтал и чему радовался.

– По-моему, вас не должно огорчать это событие, – подсунул уголек своему собеседнику Ольшер. – Я не имею в виду политические соображения.

– Господин капитан, для нас с вами, да и для всех немцев, сейчас важны только политические соображения, – тактично осадил Ольшера барон. – И в силу этого сообщение должно получить другую редакцию.

– Когда донесение поступит к господину Геббельсу, если оно вообще поступит к нему, – съязвил капитан, – на свет родится другая редакция. А может быть, и никакой редакции. События на фронте настолько грандиозны, что газеты просто не найдут место для некролога по поводу исчезновения нашего общего друга, – капитан снова съязвил. – Пока же существует не пропагандистское сообщение, а фотография факта. Не только управлению СС, но и министерству восточных областей надо знать истину.

– Странно, – процедил Менке.

– Что странно, барон?

– Странно, что вы все это говорите мне...

– Я почувствовал в вашем вопросе сомнение и даже недоверие, – подчеркнул Ольшер.

– Вы не ошиблись, господин капитан.

– Иначе говоря, остминистерство настаивает на вскрытии трупа...

– Нет... нет... – торопливо бросил барон. – Благодарю вас за информацию.

Трубка легла на аппарат. В кабинете Менке. Капитан продолжал держать ее у лица, будто ждал еще каких-то слов. Или раздумывал. Ему хотелось многое сказать барону. Именно теперь, когда на маленьком сообщении столкнулись их взгляды. Вернее, их планы. На завтрашний день.

Он все-таки положил трубку. Но сейчас же снова поднял, набрал номер.

– Фрау Людерзен?

– Слушаю вас, господин капитан.

– Вы так легко узнаете мой голос?

– Это моя обязанность, господин капитан.

– Похвально... – Ольшер улыбнулся. Преданность и исполнительность подчиненных всегда радовала. Он умел подбирать людей. Умел распознавать их. – Мне нужен ваш муж.

– Зондерфюрера сейчас нет.

– Где он?

– Поехал в Остминистерство.

– К Менке?

– Да.

– Не согласовав со мной...

– Господин капитан, это чисто формальная обязанность. Жена Чокаева настаивает, чтобы муж ее был похоронен на Бель-Альянштрассе. В крайнем случае на Бергманштрассе.

– Но это же старые кладбища, там почти не хоронят. Тем более теперь.

– По особому разрешению... Барон мог бы посодействовать.

– Барон? Хотя для покойника чего не сделаешь.

– Конечно, конечно, господин капитан. Ольшер в какой-то степени был доволен действиями своего офицера связи. Но его немного беспокоила возможная беседа Людерзена с бароном: фон Менке безусловно станет выпрашивать, уточнять детали события, а это совсем некстати сейчас. Остминистерство не должно подозревать о существовании тайны. И тем более, что эта тайна в руках Ольшера. Старая лиса умеет перехватывать нити. Рвать их.

– Как чувствуют себя наши подчиненные на Ноен-бургерштрассе?

Фрау Людерзен промычала что-то неясное в трубку. Или не знала, или не решалась сказать.

– Вы слышите меня?

– Да, господин капитан...

– Говорите.

Он представил себе маленькую женщину с лукавыми карими глазками, растерянную, оглядывающуюся. Она всегда оглядывалась, когда надо было сделать решительный шаг.

Видимо, считала свой ответ важным. Так показалось Ольшере, и капитан заторопил ее:

– Говорите.

– Я не уверена, что одна в комнате.

– Что за чушь.

– Простите, господин капитан, но мне так кажется.

– Кто же там?

– Никого.

– И все-таки боитесь?

– После смерти господина Чокаева... Такой странной смерти... Мне... да и мужу...

– Вздор. Вы ничего не поняли... И зондерфюрер ничего не понял. Секретарю немке ничего не угрожает. Кто был сегодня у вас?

– Никого почти не было.

– Почти?

– Если не считать фрау Хенкель.

– Эта bestия опять повадилась на Ноенбургерштрассе...

– Вы о Рут?

– Да. Что ей там нужна?

– Она очень весела, господин капитан.

– Ну это не так уж важно: она всегда весела.

– Рут сказала, что господин Чокаев очень стар и мог умереть даже раньше...

– Она была пьяна?

– Немножко, господин капитан... Но это так идет ей. Она

так хороша. Я всегда восхищаюсь. Не правда ли, господин капитан, Рут красива?

– Вы не о том говорите, фрау Людерзен... Зачем она явилась на Ноенбургерштрассе?

– Этого я не знаю.

– Надо знать. – Капитан начинал сердиться. Человек сидит в приемной и ничего не видит. Спрашивается, зачем такой дуре платят деньги. Его деньги, капитана Ольшера. Ведь она числится в штате управления. Как и ее супруг зондер-фюрер. Их приходится постоянно наталкивать на след, подсказывать, учить. Особенно эту пигалицу с карими глазами и вздернутым носиком. – Что она еще говорила? – строго произнес капитан.

– Что их квартира на Кайзер-Вильгельмштрассе очень тесная. Она мечтает о собственном доме.

– Вот что! – Капитан задумался. Мысленно он увязывал события с поведением фрау Хенкель. Для других эта миловидная женщина, экстравагантная и довольно развязная в обществе мужчин, была просто непутевой женой одного из подчиненных капитана. Для самого же капитана фрау Хенкель являлась соперницей. Особого рода. Она не могла повредить ему, не могла встать на пути, но могла спутать его карты. И именно сейчас.

– Мне кажется, Рут имеет право на это, – проворковала фрау Людерзен.

– Безусловно...

– Скажите, как Хенкель отнеслась к смерти Чокаева? Она говорила что-нибудь об убийстве?

– Да...

– Именно?

– Что ее удивляют люди, которым делается дурно при слове «убийство». Ведь сейчас время сильных личностей. В конце концов какая разница, отчего умер господин Чокаев. Он стар. Ему не под силу великие задачи.

Большого не ожидал капитан и заторопился отблагодарить фрау Людерзен.

– Передайте зондерфюреру, что он нужен мне.

– Будет выполнено, господин капитан.

Он положил трубку, намереваясь заняться бумагами, которых немало накопилось со вчерашнего вечера. Телефон ему не нужен больше, во всяком случае, до конца дня Ольшер не собирался никому звонить. Но аппарат вторгся в распорядок капитана своей низкой трелью.

– Гаупштурмфюрер Ольшер слушает...

В трубке зазвучал только что умолкнувший голос фрау Людерзен:

– Извините, господин капитан. Я забыла сказать вам еще об одном посетителе.

– Так...

– Был Рудольф Берг.

– Кто это?

– Мне точно не известно, но муж называл его милым цер-

бером.

– Не понимаю.

– Он, кажется, из гестапо...

– Что его интересует на Ноенбургерштрассе?

– Рудольф со мной не беседует, только кланяется... После смерти господина шефа...

– Убийства.

– Да, да, после убийства господина Чокаева Берг наведывался дважды.

– Его интересует событие? Вы не заметили этого?

В трубке раздалось знакомое мыкание фрау Людерзен: она тужилась, пытаясь подобрать нужный для капитана ответ.

– Заметила...

– В чем это выразилось?

– Утешал фрау Хенкель, говорил, что не следует слишком огорчаться по поводу смерти начальника ее мужа.

«Дура, – обругал мысленно свою собеседницу капитан. – Форменная дура. Где только нашел ее Людерзен?»

– Все?

– Пока все... Если вспомню еще что-нибудь, позвоню немедленно. Вы разрешите, господин капитан?

– Не утруждайте себя, фрау Людерзен. Ваша информация была полной. Благодарю.

Раздражение помешало капитану по достоинству оценить сообщение с Ноенбургерштрассе, и он едва не упустил воз-

возможность сделать нужный вывод. В последний момент задержал руку над аппаратом и окликнул фрау Людерзен.

– Погодите... Этот Берг был вместе с Рут Хенкель...

– Конечно... То есть они вошли порознь, но ушли вместе.

Очень мило беседуя.

– Хорошо...

– Вы довольны, господин капитан?

– Да... – Он скривил губы в отвращении. Эта дура просто неповторима. – Доволен господином Бергом...

На этот раз Ольшер не положил, бросил трубку. Она загремела, падая на аппарат.

Что такое тридцать марок в голодном Берлине? Что такое вообще деньги, если в самом приличном ресторане, где до войны играл оркестр и подавали настоящий оксеншвайцензуппе или бифштекс с кровью, сейчас предлагают как деликатес суп из костей с травой и мушель-салат? Это в «Раабе Диле», на Шперлингсгассе! Слава богу, что можно повторить и суп и мушель-салат, вернее капусту, похожую на земляных червей. Можно выпить сухого вина. Бокал. Опять-таки пользуясь традицией и добрым именем «Раабе Диле». Впрочем, Саид Исламбек не посещал «Раабе Диле», он только слышал о нем. Он довольствовался скромненьким «Фатерландом», где до войны тоже подавали бифштексы и антрекоты, а сейчас кормят все тем же мушель-салатом и иногда шпинатом с картофелем. И, конечно, приносят сурро-

гатный кофе. Несколько раз приносят. Молча. Без удивления: все повторяют заказ. Надо набить желудок, надо как-то держаться на ногах. Всю неделю Саид поглощал шпинат и картофель, лил в себя кофе, набирался сил. А марки таяли. Тройной обед требовал тройных расходов. В кармане у Исламбека осталось шесть марок. Шесть марок и сколько-то пфеннигов. Неважно сколько. Они будут истрачены еще на несколько стаканов кофе, который Саид без удовольствия – как надоел ему кофе! – сцедит в свой всегда голодный желудок.

Он ходит из гаштетта в гаштетт. И этому тоже никто не удивляется. А если бы и удивились, Саиду наплевать. На нем форма СС, которой немцы боятся пуще смерти. Смерть – это все-таки только смерть, а гнев эсэсовца – это гестапо, это лагерь, это муки. Куда бы и сколько бы ни ходил эсэсовец, интересоваться не следует. К тому же это не простой эсэсманн, а шарфюрер, о чем свидетельствуют знаки в петлицах. Звание не особенно высокое, но звание. Чин в Германии, какой бы он ни был, обладает магическим свойством подавлять штатских. И надо этим воспользоваться.

Во всех экспедициях Саида по гаштеттам участвует Азиз. Новоиспеченный эсэсманн смахивает на адъютанта и ведет себя по отношению к шарфюреру с должным почтением. Во всяком случае, никто не подумает, что он компаньон, каждому понятно – это только подчиненный. Азиз хорошо изучил человеческую науку – знает, где надо быть волком, а где

овечкой. В Берлине Азиз – овечка. На роже смирение и кро-  
тость.

Его пугает чужой город, мрачный, наполненный гулом машин, звуками маршей. Из всех репродукторов – на улицах, площадях, в отелях и ресторанах – летят марши. Холодные, насыщенные громом меди. Он не понимает, о чем говорят берлинцы, о чем они спорят, чему радуются. И это тоже пугает Азиза. А Саид спокоен и уверен, не теряется на улицах, в гаштеттах, с ним легко. Надежно. У Азиза создается впечатление, что Исламбек когда-то бывал здесь, что он ходит по знакомым местам и слушает знакомую речь. Но не признается. Ну и пусть. Какое ему дело, кто поводырь, лишь бы вел и не дал оступиться в чужом городе.

Исламбек купил книжицу и изучает немецкий язык. Успешно. С каждым днем все смелее и смелее заговаривает с немцами. Это удивительно. Азиз тоже, с первых дней плена, запасается словами, но речь берлинцев ему непонятна. Даже знакомые названия в общей речи исчезают. Он не в состоянии ухватить их, отделить, только «да», «нет», «иди сюда», «стой!» понимает, если звучат они самостоятельно.

– Ты скоро будешь болтать не хуже самих немцев, – восхищается Азиз, слушая речь Саида.

– Постараюсь.

У Азиза осталось еще меньше марок – всего четыре. Ничего не поделаешь – аппетит. Не хочет Рахманов отказывать себе в лишнем бокале пива. «Мы живем один раз, – говорит

он. – И, может быть, завтра будет поздно заказывать этот бокал».

– Но ты еще хотел попробовать шурпу и меня угостить.

– О, не расстраивай бедного Азиза напоминанием. Я рад и шпинату с картошкой.

Ему не повезло в Берлине с первого дня. Они приехали накануне смерти Мустафы. Увидеть шефа, конечно, нельзя было – тот лежал в больнице. Правда, состояние Чокаева не вызывало опасений и следовало лишь подождать выздоровления.

– Представляю, как будет рад Мустафа-ака появлению «племянника», – пошутил Азиз, похлопывая по плечу шарфюрера. – Надо навестить «дядюшку».

И вдруг – смерть Мустафы. Убийство. Так восприняты все сообщения о внезапной кончине главы «правительства» Туркестана. Так воспринял и Азиз. И не только воспринял, но и забеспокоился. Он хорошо чуял перемены. Да и настроение Исламбека было симптоматичным. В день смерти Мустафы Саид ушел один в город, хотел навестить жену Чокаева Марию, поговорить с ней. Так объяснил Азизу. Вернулся затемно. Взволнованный. Напуганный вроде. Сказал, что не застал Марию. Ждал, не дождался. А утром сообщение о кончине шефа. Саид совсем расстроился. Не хотел ни есть, ни пить. С трудом Азиз уволок его на Ангальтский вокзал в гаштетт, чтобы подкрепиться.

На Ноенбургерштрассе с ними не захотели разговаривать:

«Вас вызывал Чокаев, неизвестно, зачем вы понадобились ему». «Что же теперь делать?» «Ждать до выяснения». «Помогите устроиться с жильем. Отель обходится очень дорого». «Зачем устраиваться? Может быть, вам придется вернуться назад».

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.